

Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Стихотворения и поэмы



ПОЭЗИЯ
XX
ВЕКА

Андрей ВОЗНЕСЕНСКИЙ



ПОЭЗИЯ
XX
века



Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Стихотворения и поэмы

Москва
Информационно-издательский дом
“ПРОФИЗДАТ”

**ББК 84Р7
В61**

Вознесенский А.А.

В 61 Стихотворения. — М.: Профиздат, 2001. —
304 с. — (Поэзия XX века).

В книгу известного поэта Андрея Андреевича Вознесенского вошли избранные произведения, созданные за несколько десятилетий его литературной деятельности. Завершает сборник новая поэма «Беременный бас», написанная уже в новом столетии.

ISBN 5-255-01395-1

© А.А. Вознесенский, 2001
© Профиздат, 2001

НОВЫЕ СТИХИ

ВСТРЕЧА

«С Богом!» —
скажу прошлогодним разборкам.
«С Богом!» —
надеждам, вышедшим боком.

Будем втроем
в нашем быте убогом —
ты, я и Бог —
в этом вздохе глубоком

встретим молением
Третий миллениум —
с Богом...

ВЕСЕННИЕ ВЕЛОГОНКИ

Чемпионы новой веры
мчатся, галок распугав —
VELO-VELO — ПРИМАВЕРА! —
VELO-VELO-VELO-LOVE.

Повело кота налево!
В Думе полевел состав.
Многоженство просвистело —
VELO-VELOVELO-LOVE.
Душа рвется из физ. тела.
Завихренья в головах.

Трассу пробуем, набычась.
Не пойдем, ни Ты, ни я,
неземную необычность
головокружения.

Эй, любовники пространства!
Крутит цепи бытия,
в руль, как кот вцепившись
страстно,
жуть горизонтальная!

Где камейка? Курит травку.
Позабыла свой анклав.
Не скамейка, а таке-лавка.
VELO-VELOVELO-LOVE.

Все велюровое лобби,
шеф, руководитель лаб.,
машут шляпами с дороги.
Сердце переходит в ноги.
Velo-velovelo-love.

Руль бодается рогами,
шины пробуют настил.
Так на раме, вверх ногами
бык Европу увозил.

Было все. Сирена выла.
Разбиваемся стремглав.
Руль вонзался в грудь, как вилы.
Velo-velovelo-love.

Запад — ложь. Восток — химера.
Западло по части прав.
Побеждает только вера —
вера — velo-velovelo-love.

Прозевай нас, Азazelло!
В белокаменных церквах
прозвенела примavera:
velo-velo-velo-ax!

Любо сердцу на балу,
даже биться перестав:
«Я болю-болюболю».
Velo-velovelo-love.

Бровь нахмурится над спецовкой.
Пальцы вечностью затекут.
Илья Муромец васнецовский
отдает пионерский салют.

Над папирусом сын поп-арта
свесил патлы, позабывав,
что автографы Клеопатра
оставляла лишь на губах.

И Димитров на Якиманке
в кулаке, насшибав рубли,
поднял кружку пива. Но панки
кружку, видимо, увели.

Гамаюн надевает джинсы.
Третья Стража уходит в рейд.
Оживают иною жизнью.
Как бы в эту жизнь penetrate!

Это Нерль в небоскребе
проветривается? Стоп!
Возмущая во мне поэта,
из меня проступает стиб.

В карбюраторе ржут россинанты.
Не хочу быть в толпе комет!
Я хочу к Тебе, россиянка,
без которой России нет.

Без которой не разобраться,
без которой страсть — велотрек,
без которой жемчужным блядством
обернется Тулуз Лотрек.

СМЕРТЬ ОГНЯ

Он лежал ничком, подставив спину
Как контрольный выстрел киллера
встав в кружок, нетрезвые мужчины
поливают скорбно труп костра.

ПАВЛЕВАЗМЕЙ*

Повелевай, смущай и смей,
Павлевазмей, Павлевазмей!

Ну разве женщина повинна,
что явлен ей —
в единстве змея, льва, павлина
Павлевазмей?

Каким круговоротом вальса
шла голова,
когда нутра язык касался
шершавый льва!

Твой тренер — не апостол Павел,
не Птолемей —
павлиний звездный хвост расправил
Павлевазмей.

Ах, братья, не порвите платье!
Ты дохла аж —
как будто заключал в объятия
Тебя трельяж!

В Тебе столетья отражались
и страсть взаимы,
и революции пожарищ,
и что есть мы...

* Как говорит Библия, Еву совращали одновременно трое — змей, павлин и лев.

Он сладко пел об изуверах
в дезабилье,
И это Евангелие без Евы —
лишь ...нгелье.

И гласом ангела без гнева
спросила высь:
«Ну как, освоила ты, Ева,
трехпалый свист?»

Но разве женщина повинна,
что в ней жив грех —
зеленоглазый крик павлина,
и змей, и лев.

Но разве бабы выбирают
учителей,
когда ей правит темперамент
ПавлЕВАЗмей!

А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

РОМАНС

Запомни этот миг. И молодой шиповник.
И на Твоем плече прививку от него.
Я — вечный Твой поэт и вечный
Твой любовник.
И — больше ничего.

Запомни этот мир, пока Ты можешь
помнить,
а через тыщу лет и более того
Ты вскрикнешь, и в Тебе царапнется
шиповник...
И — больше ничего.

1975

САГА

Ты меня на рассвете разбудишь,
проводить необутая выйдешь.
Ты меня никогда не забудешь.
Ты меня никогда не увидишь.

Заслонивши тебя от простуды,
я подумаю: «Боже всевышний!
Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

Эту воду в мурашках запруды,
это Адмиралтейство и Биржу
я уже никогда не забуду
и уже никогда не увижу.

Не мигают, слезятся от ветра
безнадежные карие вишни.
Возвращаться — плохая примета.
Я тебя никогда не увижу.

Даже если на землю вернемся
мы вторично, согласно Гафизу,
мы, конечно, с тобой разминемся.
Я тебя никогда не увижу.

И окажется так минимальным
наше непониманье с тобою
перед будущим непониманьем
двух живых с пустотой неживою.

И качнется бессмысленной высью
пара фраз, залетевших отсюда:
«Я тебя никогда не забуду.
Я тебя никогда не увижу».

1977

* * *

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972

ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,

прощай мое лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,

леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,

мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,

прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,

друзья и враги, бывайте,
гуд бай,

из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я уйду из вас,

о родина, попрощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,

на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что

в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,

«Андрей Вознесенский» — будет,
побывать бы не словом, не бульдиком,
еще на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,

спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокла за ошейник,
а он упирался,
спасибо,

я ожил, спасибо за осень,
что ты мне меня объяснила,

хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло бasila
пластинка блатного пошиба,
спасибо,

но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?

Ты рядом и где-то далеко,
почти что у Владивостока,

я знаю, что мы повторимся
в друзьях и подругах, в травинках
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,

спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,

но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...

Спасите!

1961

СОН

Мы снова встретились. И нас
везла машина грузовая.
Влюблялись мы — в который раз.
Но ты меня не узнавала.

Меня ты привела домой.
Любила и любовь давала.
Мы годы прожили с тобой.
Но ты меня не узнавала!

1972

ПИЕТА

Сколько было тьмы непониманья,
чтоб ладонь прибитая Христа
протянула нам для умыванья
пригорошни, полные стыда?

И опять на непроглядных водах
стоком оскверненного пруда
лилия хватается за воздух —
как ладонь прибитая Христа.

1977

СКУЛЬПТОР СВЕЧЕЙ

Скульптор свечей, я тебя больше года
вылепливал.

Ты — моя лучшая в мире свеча.
Спички потряхивая, бренча.
Как ты пылаешь великолепно
волей создателя и палача!

Было ль, чтоб мать поджигала ребенка?
Грех работенка, а не барыш.
Разве сжигал своих детищ Коненков?
Как ты горишь!

На два часа в тебе красного воска.
Где-то у коек чужих и афиш
стройно вздохнут твои краткие сестры,
как ты горишь.

Как я лепил свое чудо и чадо!
Весны кадили. Капало с крыш.
Кружится разум. Это от чада.
Это от счастья, как ты горишь!

Круглые свечи. Красные сферы.
Белый фитиль незажженных светил.
Темное время — вечная вера.
Краткое тело — черный фитиль.

«Благодарю тебя и прощаю
за кратковременность бытия,
пламя, пронзающее без пощады
по позвоночнику фитиля.

Благодарю, что на миг озаримо
мною лицо твое и жилье,
если ты верно назвал свое имя,
значит, сгораю во имя Твое».

Скульптор свечей, я тебя позабуду,
скутер найму, умогаю отсюда,
свеч наштампую голый столбняк.
Кашляет ворон ручной от простуды.
Жизнь убывает, наверное, так,
как сообщающиеся сосуды,
вровень свече убывает в бутылке коньяк.

И у свечи, нелюбимой покуда,
темный нагар на реснице набряк.

1977

ЖЕНЩИНА И СТЕНА

Держите шатенку!

Она разбегалась и билась об стену —
лицом, животом бесполезно красивого тела.
Лоб всмятку и платье клочками,
как пена —
об стену!

«Видать, она в стельку?»

«Давай я тебя уложу, успокою, раздену» —
об стену!

За пошлость измены!

За страшную цену

красивою быть, да еще современной,
за тело, что мучает ночью, а тут еще

денно, —

за съехавший с рамой портрет

Рубинштейна,

об все деловые постели, об все

«невозможно»,

об «тесно» —

об стену!

(И после удара с минуту, наверно,
две нижние доли дрожали, как после

Шопена.)

— Прости эту стену,

что нас разделила с тобой постепенно.

— Прости мне, любимый, что я не убила
тебя,

чтоб избавить от плена —
об стену!

Прости эту сцену.
Стена победила. Мы тени системы,
об стену!..

Будь благословенна
та сила паденья, что сбивши колени,
бросает на стену!

Ты вдруг вылетаешь таранящим креном —
сквозь стену —
оставив дыру с очертаньями тела.

Сквозь тело летят облака и ночные сирены.

Будь благословенна.

НОСТАЛЬГИЯ ПО НАСТОЯЩЕМУ

Я не знаю, как остальные,
но я чувствую жесточайшую
не по прошлому ностальгию —
ностальгию по настоящему.

Будто послушник хочет к Господу,
ну а доступ лишь к настоятелю —
так и я умоляю доступа
без посредников к настоящему.

Будто сделал я что-то чуждое,
или даже не я — другие.
Упаду на поляну — чувствую
по живой земле ностальгию.

Нас с тобой никто не расколует,
но когда тебя обнимаю —
обнимаю с такой тоскою,
будто кто тебя отнимает.

Одиночества не искупит
в сад распахнутая столярка.
Я тоскую не по искусству,
задыхаюсь по настоящему.

Все из пластика — даже рубища,
надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...

И когда мне хохочет в рожу
идиотствующая мафия,
говорю: «Идиоты — в прошлом.
В настоящем — рост понимания».

Хлещет черная вода из крана,
хлещет ржавая, настоявшаяся,
хлещет красная вода из крана,
я дождусь — пойдет настоящая.

Что прошло, то прошло. К лучшему.
Но прикусываю как тайну
ностальгию по настоящему,
что настанет. Да не застану.

1975

СНАЧАЛА!

Достигли ли почестей постных,
рука ли гашетку нажала —
в любое мгновенье не поздно,
начните сначала!

«Двенадцать» часы ваши пробили,
но новые есть обороты.
Ваш поезд расшибся. Попробуйте
летать самолетом!

Вы к морю выходите запросто,
спине вашей зябко и плоско,
как будто отхвачено заступом
и брошено к берегу прошлое.

Не те вы учили алфавиты,
не те вас кимвалы манили,
иными их быть не заставите —
ищите иные!

Так Пушкин порвал бы, услышав,
что не ядовиты анчары,
великое четверостишье
и начал сначала!

Начните с бесславья, с безденежья.
Злорадствует пусть и ревнует
былая твоя и нездешняя —
начните иную.

А прежняя будет товарищем.
Не ссорьтесь. Она вам родная.
Безумие с ней расставаться,
однако

вы прошлой любви не гоните,
вы с ней поступите гуманно —
как лошадь, ее пристрелите.
Не выжить. Не надо обмана.

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не слушаете совет.

1974

МОНАХИНЯ МОРЯ

Я вижу тебя в полдень
меж яблоков печеных,
а утром пробегу —
монахиною моря в мохнатом капюшоне
стоишь на берегу.

Ты страстно, как молитвы,
читаешь километры.
Твой треугольный кроль
бескрайнюю разлуку молотит,
как котлеты,
но не смиряет кровь.

Напрасно удлиняешь голодные дистанци
Желание растет.
Как море ни имеешь — его все
недостаточно.
О, спорт! ты — черт...

Когда швыряет буря ящики
с шампанским
серебряноголовые — как кулачок
под дых,
голая монахиня бесшабашная,
бросаешься под них!

Бледнея под загаром,
ты выйдешь из каскадов.
Потом кому-то скажешь, вернувшись
в города:

«Кого любила?.. Море...»
И все ему расскажешь.
За время поцелуя
отрастает борода.

1980

ВОДЯНЫЕ

Р. Щедрину

Мы — животные!
Твое имя людское сотру.
Лыжи водные
распрямяют нас на ветру.

Чтоб свобода нас распрямила
на лету —
словно рвешь лошадиную силу
на Аничковом мосту.

Одиночество —
вся надежда на позвоночники.
Не сорваться бы.
Мы — животные цивилизации.

А змеиному телу подруги,
приподнявшейся на руке,
мы, наверное, кажемся плугом,
накренившимся вдалеке.

Берег. Женщина-невеличка.
Счастье — вот оно!
И в боксерских перчатках спички —
мы — животные.

Тренированные на водных,
на земных,
мы осваиваемся свободно
на воздушных и на иных.

Голова на усах фекальных
выплывает из глубины.
Что же держит нас вертикально?
Тяга женщины и страны,

где, каким-то чудом сохранены,
запрокинутые назад,
ухватясь за свои телеграммы,
покосившись, столбы летят.

И когда душа моя по небу
взмлет вовремя —
что ей в это мгновенье вспомнится?
Лыжи вольные!

ВДОЛЬ МОРЯ

На закате бегу между пляжем и морем,
что барашками кажется мухомором,
мимо пляжей, которые кажутся жизнью,
мимо жизни, которая кажется пляжем,
мимо моря, которое кажется смертью,
мимо смерти, которая кажется жизнью,

пляж, который казался десяткой червов,
загорев, оказался пиковой масти,
мимо горя, которое кажется счастьем,
мимо счастья, которого, кажется, нету,
мимо розы, которая кажется чайной,
только пахнет вином, унесенным из чайной,
мимо тайны, которая кажется душой,
мимо дуры, которая кажется тайной,
мимо тайны, которая кажется тенью,
мимо тени, оказывающейся светом,

пробегаю по кругу, что кажется волей,
меж ворами, которые, кажется, в «Вольво»,
меж собакой и волком, что кажется другом,
между дружбой, которая кажется цепью,
мимо церкви, которая кажется Богом,
мимо Бога, оказывающегося церковью,
мимо молний, которые кажутся чайкой,
мимо чайки, что вскоре окажется МХАТом,
мимо молний с копьём, как святой Егорий,
мимо моря, тебя растворившего моря,

полюбила, а кажется, посмеялась,
время — секс, что кажется безопасным,
пронеслась — а кажется, что навеки,
навсегда — а кажется, что напрасно.

КУПАНИЕ В РОСЕ

На лугу меж двух озер
вне обзора от шоссе,
как катается ковер,
мы купаемся в росе.

Ледяные одуванчики,
исхлеставши плечи все,
ароматом обдавайте!
Мы купаемся в росе.

Все грехи поискупали,
окрещенные в красе,
не в людских слезах —
в купавиных,
брось врачей! Купнись в росе!
Принимай росные ванны!
Никакого ОРЗ.

Как шурупчик высоты,
дует шершень от шоссе —
где тут ты? и где цветы?
он ворчит: «Ля вам шерше...»

Милые, нас не скосили!
Равны ежику, осе,
мы купаемся в России,
мы купаемся в росе.

Полосатый, словно зебра —
ну и сервис! — след любви.

Ты в росе, в росе, в росевросевросево —
серва
ландыша не раздави!..

Как приятно на веранде
пить холодное «rosé»...
Вы купайтесь в бриллиантах!
Мы купаемся в росе.

ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины — как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах
стрижами заплещутся
души пойманные твои!

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас прижимает друг к другу.

Спим.

1965

БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву

Говорила биолог,
молодая и зяблая, —
это летчик Володя
целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
свою чистую
кровь!

*Яблоня ахнула,
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения,
высвобождаясь из тычинок,
пестиков,
ресниц,
разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
Телу яблонеvu от тебя тяжелеть.
Как ревную я к стонущему стволу.
Ночью нож занесу, но бессильно стою —
на меня, точно фары из гаража,
мчатся
яблонеvые глаза!

Их 19.

*Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.*

Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.

*В них ненависть, боль, недоуменье —
что? что?*

что свершается под корой?

*кожу жжет тебе известь? кружит тебя
кровь?*

Дегтем, дегтем тебя мазать бы,

а не известью,

дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы

себе как

соседки в белых передниках. Ишь...

*Так сидит старшеклассница меж подружек,
бледна,*

чем полна большеглазо — не расскажет она.

Похудевшая тайна. Что же произошло?

Пахнут ночи миндально. Невозможно светло.

Или тигр-людоед так тоскует, багров.

Нас зовет к невозможнейшему любовь!

*А бывает, проснешься — в тебе звездопад,
тополиные мысли и листья шумят.*

По генетике у меня четверка была.

Люди — это память наследственности.

В нас, как муравьи в банке,

напиханно шевелятся тысячелетия,

у меня в пятке щекочет Людовик XIV.

Но это?..

*Чтобы память нервов мешалась
с хлорофиллами?*

*Или это биочудо? Где живут
дево-деревья?*

Как женщины пахнут яблоком!..

...А 30-го стало ей невмоготу.

*Ночью сбросила кожу, открыв наготу,
врыта в почву по пояс, смертельно орет
и зовет
удаляющийся
самолет.*

1965

* * *

Можно и не быть поэтом,
но нельзя терпеть, пойми,
как кричит полоска света,
прищемленная дверьми!

1976

ПОВЕСТЬ

Он вышел в сад. Смеркался час.
Усадьба в сумраке белела,
смущая душу, словно часть
незагорелая у тела.

А за самим особняком
пристройка помнилась неясно.
Он двери отворил пинком.
Нашарил ключ и засмеялся.

За дверью матовой светло.
Тогда здесь спальня находилась.
Она отставила шитье
и ничему не удивилась.

1972

ПЕРЕДЕЛКИНСКИЙ КЛЮЧ

По гнущимся ступеням
к источнику, что снизу,
кто вывел автогеном
«Надежда» и «Лариса»?
Ах, женские ступени
и имя на плаву,
как в поминальном пенье
и в храме на полу.
Железа отсвет паюсный,
вечерний прогибается
под мною и тобой.
Ты туфли не из риска
снимаешь с каблуком —
чтоб ощутить Ларису,
ощупав босиком.
Плащ подвернув до «мини»,
нагнешься в темноте
и пальцем свое имя
напишешь на воде.
И озаренный инеем,
с твоей ладони пью
разбавленную именем
прощальную струю.

ОБУЧЕНИЕ ВИНОПИТИЮ

Напои меня вином —
темно-красною свободой,
напои меня собою,
в рот набрав «Сент-Эмильон».

Напои меня виной
холодяще, эротично.
Все другое — еретично.
Нови, нови нет в ином!

Все фужеры я давно
перебил тебе на счастье.
Обучу тебя причастью
пить взаимное вино.

Научу пить из горла
вкус малины и канцоны —
антирадиационно
Геба ты, а не герла.

«С Новым годом!» повторим.
Неужели, неужели
твои женские фужеры
не новее всех новин?!

Жизнь — короткие вакейшены.
Нам завещано одно —
пить из губ любимой женщины
монастырское вино!

Рукавами кимоно
утро сужено в окно.
Нови, нови нету, но
есть вино, вино, вино.

Только зеркало с торца
отражает невозможно
неразъятою восьмеркой
два дурацкие лица.

Новый год — какой наив!
Век какой? Не все ль равно...
Нет новин, новин, новин,
есть вино, вино, вино...

АВТОМАТ

Москвою кто-то бродит,
накрутит номер мой.
Послушает и бросит —
отбой...

Чего вам? Рифм кило?
Автографа в альбом?
Алло!..
Отбой...

Кого-то повело
в естественный отбор!
Алло!..
Отбой...

А может, ангел в кабеле,
пришедший за душой?
Мы некоммуникабельны.
Отбой...

А может, это совесть,
Потерянная мной?
И позабыла голос?
Отбой...

Стоишь в метро конечной
с открытой головой,
и в диске, как в колечке,
замерзнул пальчик твой.

А за окошком мелочью
стучит толпа отчаянная,
как очередь в примерочную
колечек обручальных.

Ты дунешь в трубку дальнюю,
и мой воротничок
от твоего дыхания
забьется, как флажок...

Порвалась связь планеты.
Аукать устаю.
Вопросы без ответов.
Ответы в пустоту.

Свело. Свело. Свело.
С тобой. С тобой. С тобой.
Алло. Алло. Алло.
Отбой. Отбой. Отбой.

1971

БАЛЛАДА О МО

Словно гоголевский шнобель,
над страной летает Мобель.

Говорит пророк с оглобель:
«Это Мобель, Мобель, Мобель...
Черным дьяволом зачаты
одноухие зайчаты.
Я читал в одной из книг —
Мобель дик».

— А Мадонна из Зарядья
тройню черных родила.
«Дистанционное зачатье» —
утверждает. Ну, дела!

Ну Мобель, погоди...

Покупаю модный блейзер.
Восемь кнопочек на нем.
Нажму кнопку — кто-то трезвый
говорит во мне: «*Прием.*
Абонент не отвечает или временно
недоступен
звону злата. И мысли, и дела он знает
наперед...»

Кто мой Мобель наберет?

Секс летит на нас отдельно,
Жизни смысл отстал от денег.
Мы — отвязанные люди,
без иллюзий.

Мобеля лауреаты
проникают Банку в код.
С толстым слоем шоколада
Марс краснеет и плывет.

Ты теперь дама с собачкой —
ляжет на спину с тоски,
чтоб потрогала ты пальчиком
в животе ее соски.

*Если разговариваешь более получаса, —
рискуешь получить удар
самонаводящейся
ракетой.*

- *Опасайтесь связи сотовой.*
- *Особенно двухсотой.*
- *Налей без содовой.*

Даже в ванной — связи, связи,
запредельный разговор,
словно гул в китайской вазе,
что важнее, чем фарфор.

Гений Мобеля создал.
Мобель гения сожрал.
Он мозгов привносит рак.
Кто без мозгов — тот не дурак.

«МО», — сказал Екклезиаст.
Но звенят мои штаны:
«Капитализм — это несоветская власть
плюс мобелизация всей страны».

Черный мебель, черный мебель
над моею головой,
нового сознания модуль,
черный мебель, я не твой!

— Не сдадим Москву французу!
— В наших грязях вязнет «Опель».
Как повязочка Кутузова,
в небесах летает мебель
МОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМОБЕЛЬМО...

Слепы мы.
Слепо время само.

Был бы у Татьяны мебель,
то Онегину бы, кобелю,
не писала бы письмо.

ПЛАТИТЕ ЖЕНЩИНЕ

Женщине надо платить —
жизнью, а лучше наличными.
Как утверждают античные
Плётин и Плотин.

Все оставляет блондин
золото на подушке,
гений забился в падучей —
женщине надо платить.

Деньги суммируют секс.
В женщину, словно в копилку,
суть свою юноша пылкий
вкладывает, и Ксеркс.

Женщине надо плодить
тайны и войны всамделишные,
грезы налогоплательщиков
в куртках на голое тело,
и тех, кто платить супротив.

Женщиной надо балдеть.
Пусть обвинят в пораженщине.
Платите женщине!
(Шкурой, когда вы медведь.)

Чем я тебе заплачу
за твое чудо бесценное,
за поцелуи, за сцену
перед поездкой к врачу?

Как мы играли с тобой!
За щеку сунув динару...
И из тебя — из Данаи —
сыпался дождь золотой.

Как ты неординарна!

«Я — однорукий бандит!...»
Отхохочись до упаду,
став игровым автоматом.
Надо платить.

За этот аперитив
будешь, родная, расплачиваться
дном, унижениями, прачечными,
за все мужские палачества
женщине надо платить.

ИГРОВАЯ

Вызвала под утро за ворота
рыжая, пустая как камыш.
И твердишь лицом бесповоротным:
«Я сама себе отвратней рвоты.
Неужели ты меня простишь?!

Помнишь, ты крутил: «грядеши камо?»
«Камо-амок» выплыло со дна.
Я давно играю. Это амок.
Неужели ты простишь меня?»

Амок, всенародный и кровавый,
мчится, самых лучших закрутя...
«Игровая вышла, игровая», —
говорят таксисты про тебя.

Молодая пиковая дама,
кто ж маркиз твой? Урка из Мытищ?
Воеет амок — вековая яма:
«Неужели ты меня простишь?»

Ночью выпал иней. Вроде храма.
Но на босу ногу ты была,
как позавчера ушла из дома,
амоком ведомая ушла.

Жалко не прикида, не квартиры,
жаль тебя, а не зеленых тыщ.
За тобой следили рэкетеры.

«Я должна кавказцам, — ты твердила. —
Неужели ты меня простишь?»

«Сколько?» — говорю, играя хама.
Я устал от твоего вранья.
Но ужалил непонятный амок:
«Неужели ты простишь меня?»

Это круче дозы тегеранской,
крутит, состав крови изменяя.
Отыгаться надо, отыгаться —
Неужели не простишь меня?

Женщины — все игровые,
ставят свою юность и престиж,
русские наследницы графини.
Неужели ты меня простишь?

Амок шел за мной на Мицубиси.
За балкон шагнула с этажа
пятого. Сочли самоубийством.
Извини, конечно, но жива.

Возвращаясь утром на цистерне,
на пределе хрупкого ума
я пыталась распознать Систему.
Но она безумная сама.

Милая, они же профи!
Но крупье отпаивали зал,
когда твой молниеносный профиль
амок изумрудно озарял.

И страданья свет смущенно таял,
проступая через никотин.
Ведь сияние бывает тайным.
Или же бывает никаким.

Тачка ждет. Пора кончать свиданье.
Боже, излечи ее, спаси!
Смотрит сострадание страданья
в заднее окошечко такси.

Иней на деревьях — битой гжелью.
Но дорога вся темна.
Уезжает ею: «Неужели
ты простил меня?»

Господи! Камо грядеши?!
На душе тяжелый камень лишь.
Как мне жить, твой амок разглядевши?
Неужели ты меня простишь?

ФИАЛКИ

А. Райкину

Боги имеют хобби,
бык подкатил к Европе.
Пару веков спустя
голубь родил Христа.
Кто же сейчас в утробе?

Молится Фишер Бобби.
Вертинские вяжут (обе).
У Джоконды улыбка портнишки,
чтоб булавки во рту сжимать.
Любитель гвоздик и флоксов
в Майданеке сжег полглобуса.
Нищий любит сберкнижки
коллекционировать!
Миров — как песчинок в Гоби!
Как ни крути умишком,
мы видим лишь божьи хобби,
нам Главного не познать.

Боги желают кесарева,
кесарю нужно богово.
Бунтарь в министерском кресле,
монашка зубрит Набокова.
А вера в руках у бойкого.
Но что-то ведь есть в основе?
Зачем в золотом ознобе
ниспосланное с высот
аистовое хобби
женскую душу жмет?

У Бога ответов много,
но главный: «Идите к Богу!»

...Боги имеют хобби —
уоставши миры вращать,
с лейкой, в садовой робе
фиалки выращивать!

А фиалки имеют хобби
выращивать в людях грусть.
Мужчины стыдятся скорби,
поэтому отщучусь.

«Зачем вас распяли, дядя?!»
«Чтоб в прятки водить, дитя.
Люблю сквозь ладонь
подглядывать
в дырочку от гвоздя».

1972

А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Ты мне прозвонилась сквозь страшную
полночь:

«А ты меня помнишь?»

Ну как позабыть тебя, ангел-звереныш?

«А ты меня помнишь?» —

твой голос настаивал, стонуц и тонуц —

А ты меня помнишь? а ты меня помнишь?

И ухало это во тьме телефониц —

рыдало по-русски, in English, in Polish —

you promise? astonish, а ты меня помнишь?

А ты меня помнишь, дорога до Бронниц?

И нос твой, напудренный утренним

пончиком?

В ночном самолете отстегнуты помочи —

вы, кресла, нас помните?

Понять, обмануться, окликнуть по имени:

А ты меня...

Помнишь? Как скорая помощь,

в беспамятном веке запомни одно лишь —

«А ты меня помнишь?»

ОХОТА НА ЗАЙЦА

Ю. Казакову

Травят зайца. Несутся суки.
Травля! Травля! Сквозь лай и гам.
И оранжевые кожухи
апельсинами по снегам.

Травим зайца. Опохмелившись,
я, завгар, лейтенант милиции,
лица в валенках, в хроме лица,
зять Букашкина с пацаном —
газанем!

Газик, чудо индустриализации,
наворачивает цепя.
Трали-вали! Мы травим зайца.
Только, может, травим себя?

Юрка, как ты сейчас в Гренландии?
Юрка, в этом что-то неладное,
если в ужасе по снегам
скачет крови
живой стакан!

Страсть к убийству, как страсть
к зачатию,
ослепленная и извечная,
она нынче вопит: зайчатины!
Завтра взвоят о человечине...

Он лежал посреди страны,
он лежал, трепыхаясь слева,
словно серое сердце леса,
тишины.

Он лежал, синеву боков
он вздымал, он дышал пока еще,
как мучительный глаз,
моргающий,
на печальной щеке снегов.

Но внезапно, взметнувшись свечкой,
он возник,
и над лесом, над черной речкой
резанул
человеческий
крик!

Звук был пронзительным и чистым, как
ультразвук
или как крик ребенка.
Я знал, что зайцы тонут. Но чтобы так?!
Это была нота жизни. Так кричат
роженицы.

Так кричат перелески голые,
немые досель кусты,
так нам смерть прорезает голос
неизведанной чистоты.

Той природе, молчально-чудной,
роща, озеро ли, бревно —

им позволено слушать, чувствовать,
только голоса не дано.

Так кричат в последний и в первый.
Это жизнь, удаляясь, пела,
вылетая, как из силка,
в небосклоны и облака.

Это длилось мгновение,
мы окаменели,
как в остановившемся кинокадре.
Сапог бегущего завгара так и не коснулся
земли.

Четыре черные дробинки, не долетев,
вонзились
в воздух. Он взглянул на нас. И — или
это нам
показалось — над горизонтальными
мышцами
бегуна, над запекшимися шерстинками
шеи блеснуло лицо.

Глаза были раскосы и широко расставлены,
как

на фресках Феофана.

Он взглянул изумленно и разгневанно.

Он парил.

Как бы слился с криком.

Он повис...

С искаженным и светлым ликом,

Как у ангелов и певиц.

Длинноногий лесной архангел...
Плыл туман золотой к лесам.
«Охмуряет», — стрелявший схаркнул.
И беззвучно плакал пацан.

Возвращаясь в ночную пору,
Ветер рожу драл, как наждак.
Как багровые светофоры
наши лица неслись во мрак.

1963

БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку, как рубильник,
выбрасываясь
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.

Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрешины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный,
Религий — нет, знамений — нет.
Есть
Женщина!..

...Она как озеро лежала,
стояли очи как вода,
и не ему принадлежала
как просека или звезда,

и звезды по небу стучали,
как дождь о черное стекло,
и, скатываясь,
остужали
ее горячее чело.

1960

ТИШИНЫ!

Тишины хочу, тишины...
Нервы, что ли, обожжены?
Тишины...
чтобы тень от сосны,
щекоча нас, перемещалась,
холодящая словно шалость,
вдоль спины, до мизинца ступни.
Тишины...

Звуки будто отключены.
Чем назвать твои брови с отливом?
Понимание —
молчаливо.
Тишины.

Звук запаздывает за светом.
Слишком часто мы рты разеваем.
Настоящее — неназываемо.
Надо жить ощущением, цветом.

Кожа тоже ведь человек,
с впечатленьями, голосами.
Для нее музыкально касанье,
как для слуха — поет соловей.

Как живется вам там, болтуны,
на низинах московских, аральских?
Горлопаны, не наорались?
Тишины...

Мы в другое погружены.
В ход природ неисповедимый.
И по едкому запаху дыма
мы пойдем, что идут чабаны.

Значит, вечер. Вскипает приварок.
Они курят, как тени тихи.
И из псов, как из зажигалок,
Светят тихие языки.

1964

ОСЕНЬ

С. Щипачеву

Утиных крыльев переплеск.
И на тропинках заповедных
последних паутинок блеск,
последних спиц велосипедных.

И ты примеру их последуй,
стучись проститься в дом последний.
В том доме женщина живет
и мужа к ужину не ждет.

Она откинет мне щеколду,
к тужурке припадет щекою,
она, смеясь, протянет рот.
И вдруг, погаснув, все поймет —
поймет осенний зов полей,
полет семян, распад семей...

Озябшая и молодая,
она подумает о том,
что яблонька и та — с плодами,
буренушка и та — с телком.

Что бродит жизнь в дубовых дуплах,
в полях, в домах, в лесах продутых,
им — колоситься, токовать.
Ей — голосить и тосковать.

Как эти губы жарко шепчут:
«Зачем мне руки, груди, плечи?»

К чему мне жить и печь топить
и на работу выходить?»

Ее я за плечи возьму —
я сам не знаю, что к чему...

А за окошком в юном инее
лежат поля из алюминия.
По ним — черны, по ним — седы,
до железнодорожной линии
протянутся мои следы.

1959

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменялась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,
и плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
и губы, падая, дают,

и выбегают за шлагбаумы,
и от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
остолбенев до немоты,

стоят как каменные бабы,
луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
в ночном быту необжитом —

как понимает их планета
своим огромным животом.

1957

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате,
прячет в зябкое пальцецо
все в слезах и губной помаде
перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
первый лед от людских обид.

Поскользнешься. Ведь в первый раз.
Бьет по радио поздний час.

Эх, раз,
еще раз,
еще много, много раз.

* * *

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!

Даже если — как исключение —
вас растаптывает толпа,
в человеческом
назначении
девяносто процентов добра.

Деваносто процентов музыки,
даже если она беда,
так во мне,
несмотря на мусор,
девяносто процентов тебя.

1972

НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой дробит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.

Поля мои лежат в глуши,
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.

И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысаясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.

Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг,
хорош костюм, да не по росту,
внутри все ясно и вокруг —
но не поется.

Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирнойю.
Не деградируете вы —
я деградирую.

Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.
Я разучился рифмовать.
Не получается.

Чужая птица издали
простонет перелетным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.

О чем, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.

Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,

в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...

Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.

Они не знают деградации.

1967

* * *

Приди! Чтоб снова снег слепил,
чтобы желтела на опушке,
как александровский амбир,
твоя дубленочка с опушкой.

1972

ХУДОЖНИК И МОДЕЛЬ

Ты кричишь, что я твой изувер,
и, от ненависти хорошея,
изгибаешь, как дерзкая зверь,
голубой позвоночник и шею.

Недостойную фразу твою
не стерплю, побледнею от вздору.
Но тебя я боготворю.
И тебе стать другой не позволю.

Эй, послушай! Покуда я жив,
жив покуда,
будет люд тебе в храмах служить,
на тебя молясь, на паскуду.

1973

Это уже ощущалось всеми:
будто проветривали помещение —
мысль, что предшествовала творенью,
страсть, что предшествовала творенью,
тоска, предшествующая творенью,
шатала строения и деревья!

Мысль в виде женщины в кресле сидела.
Была улыбка — не было тела.
Мысль о собаке лизала колени.
Мысль о стремянке, волнуя, белела —
в ней перекладина, что отсутствовала,
мыслью о ребре присутствовала.

Съезжалось общество потребления.
Мысль о яблоке катилась с тарелки.
Мысль о тебе стояла на тумбочке.
«Как он любил ее!» — я подумал.
«Да», — ответила из передней
недоуменная тьма творенья.

Вот предыстория их отношений.
Вышла студенткой. Лет было мало.
Гения возраст — в том, что он гений.
Верила, стало быть, понимала.
Как он ревнует ее, отошедши!
Попробуйте душ принять в его ванной —
душ принимает его очертанья.
Роман их длится не для посторонних.

Переворачивался двусторонний
Чайковский. В мелодии были стоны

антоновских яблонь. Как мысль о Создателе,
осень стояла. Дом конопатили.
Шар об известку терся щекою.
Мысль обо мне заводила Чайковского,
по старой памяти, над парниками.
Он ставил его в шестьдесят четвертом.
Гости в это не проникали.

«Все оправдалось, метр полуголый,
что вы сулили мне в стенах шершавых
гневным затмением лысого шара,
локтями черными треугольников».

Море сомнительное манило.
Сохла сомнительная малина.
Только одно не имело сомненья —
мысль о бессмысленности творенья.
Цвела на террасе мысль о терновнике.
Благодарю вас, метр модерновый!

Что же есть я? Оговорка мысли?
Грифель, который тряпкою смыли?
Я не просил, чтоб меня творили!
Но заглушал мою говорильню
смысл совершаемого творенья —
ссылка на Бога была б трафаретной —
Материя. Сад. Чайковский, наверное.

Яблоки падали. Плакали лабухи.
Яблок было — гребни лопатой!
Я на коленях брал эти яблоки
яблокопада, яблокопада.

Я сбросил рубаху. По голым лопаткам
дубасили, как кулаки прохладные.
Я хохотал под яблокопадом.
Не было яблонь — яблоки падали.

Связал рукавами рубаху казнимую.
Набил плодами ее, как корзину.
Была тяжела, шевелилась, пахла.
Я ахнул —
сидела женщина в мужской рубахе.

Тебя я создал из падших яблок,
из праха — великую, беспризорную!
Под правым белком, косящим набок,
прилипла родинка темным зернышком.
Был я соавтором сотворенья.
Из снежных яблок там во дворе мы
бабу слепляем. Так на коленях
любимых лепим. Хозяйке дома
тебя представил я гостьей якобы.
Ты всем гостям раздавала яблоки.
И изъяснялась по-черноземному.

Откуда знать тебе, улыбавшейся,
в рубашке, словно в коротком платьице,
что, забывшись, влюбившись, сбросишь
рубашку
и как шары по земле раскатишься!..

Над автобусной остановкой
туча пахла, как мешок с антоновкой.
Шар улетел. В мире было ветрено.
Прощай, нечаянное творенье!

Вы ночевали ли в даче создателя,
на одиночестве колких дерюжиц?
И проносилось в вашем сознании:
«Благодарю за то, что даруешь»?

Благодарю тебя, автор творенья,
что я случился частью твоею,
моря и суши, сада в Тарусе,
благодарю за то, что даруешь,
что я не прожил мышкой-норушкой,
что не двурушничал с тобой, время,
даже когда ты мне даришь кукиш,
и за удары остервенелые,
даже за то, что дошли до ручки,
даже за то стихотворенье,
даже за то, что завтра задуешь, —
благодарю тебя, что даруешь
краткими яблоками коленей!
За гениальность твоих натурщиц,
за безымянность твоей идеи...
И повторяли уже в сновиденье:
«Боготворю за то, что даруешь».

В мир открывались ворота ночные.
Вы уезжали. Собаки выли.
Не посещайте художника после кончины,
а навещайте, пока вы живы.

1981

РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается —
боже, не приведи!

Не бей человека, птица,
еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.

Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.

Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей —
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!

Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968

ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.

Жесты легки.

В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

Милый, вот что вы действительно любите!

С Витебска ими раним и любим.

Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски

выдавленным

голубым!

Сирий цветок из породы репейников,

но его синий не знает соперников.

Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,

в хохоте нэпа и чебурек.

Во поле хлеба — чуточку неба.

Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —

с чисто готической тягою вверх.

Поле любимо, но небо возлюблено.

Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.

Зонтик раскройте, идя на проспект.

Родины разны, но небо едино.

Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венки Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле пришпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто
захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.

1973

МУРАВЕЙ

Он приплыл со мной с того берега,
заблудившись в лодке моей.
Не берут его в муравейники.
С того берега муравей.

Черный он, и яички беленькие,
даже, может быть, побелей...
Только он муравей с того берега,
с того берега муравей.

С того берега он, наверное,
как католикам старовер,
где иголки таскать повелено
остриями не вниз, а вверх.

Я б отвез тебя, черта беглого,
да в толпе не понять — кто чей.
Я и сам не имею пеленга
того берега, муравей.

Того берега, где со спелинкой
земляниковые бока...
Даже я не имею пеленга,
чтобы сдвинулись берега!

Через месяц по щепке, как Беринг,
доплывет он к семье своей,
но ответят ему с того берега:
«С того берега муравей».

1973

N.Y. — РЕСТОРАН

Моей жизни часть эмигрировала.
Здесь живет. Пустила корня́.
С интересом сейчас игривым
рассматривает меня.

Ты алмазно сияешь — краешком
глаза, носа — как в нашу рань.
Но сейчас ты — граненый камушек.
Как далась тебе эта грань!

Расшибалась всмятку, в восьмерки.
Пропасть пробовала на боках.
Держишь русский каба́к в Нью-Йорке
на отчаянных каблучках.

В этой темной шикарной яме
я узнаю — тебя потом —
неполоманное твое сиянье,
словно малый алмазный фонд.

Узнаю, что никто не знает,
что таю, от себя храня.
Вышибала, тобою нанят,
усмехается на меня.

Якиманкой бежала шибко,
в мировой провал сорвалась.
И сияешь. И не расшиблась.
Доказала, что ты алмаз.

РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНС

И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.

И в одной цене — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.

И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.

И в твоём вранье, и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.

Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране, и в моей стране.

1977

ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».

Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копья.
Да и нету дома.

Оглядишь свои углы
звездными своими,
стены пусты и голы —
голая богиня.

Предлагал озолотить
проездной бакинец.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.

Подвернуться может роль
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!
Голая богиня...

А за окнами стоят
талые осины
обнаженно, как талант, —
голая Россия!

И такая же одна
грохает тарелка
возле вечного огня
газовой горелки.

И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актерская судьба!
Голая богиня.

1975

БЕЛОВЕЖСКАЯ БАЛЛАДА

Я беру тебя на поруки
перед силами жизни и зла,
перед алчущим оком разлуки,
что уставилась из угла.

Я беру тебя на поруки
из неволи московской тщеты.
Ты — как роща после порубки,
ты мне крикнула: защити!

Отвернутся друзья и подруги.
Чтобы вспыхнуло все голубым,
беловежскою рюмкой сивухи
головешки в печи угостим.

Затопите печаль в моем доме!
Поет прошлое в кирпичках.
Все гори синим пламенем, кроме —
запалите печаль!

В этих пылких поспешных поленьях,
в слове, вырвавшемся, хрипя,
ощущение преступленья,
как сказали бы раньше, — греха.

Воли мне не хватало, воли.
Грех, что мы крепостны на треть.
Столько прошлых дров накололи —
хорошо им в печали гореть!

Это пахнет уже не романом,
так бывает пожар и дождь —
на ночь смывши глаза и румяна,
побледневшая, подойдешь.

А в квартире, забытой тобою,
к прежней жизни твоей подключен,
белым черепом со змеею
будет тщетно шуршать телефон...

В этой егерской баньке бревенчатой,
точно сельские алтари,
мы такую свободой повенчаны —
у тебя есть цыгане в крови.

Я беру тебя на поруки
перед городом и людьми.
Перед ангелом воли и муки
ты меня на поруки возьми.

1975

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!

Нашарьте огурец со дна
и стан справасидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку нельзя руками.

Она с душою наравне.
Берите трешницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.

И прогрессист, и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...

Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая!
Чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971

БАЛЛАДА-ДИССЕРТАЦИЯ

Вчера мой доктор произнес:
«Талант в вас, может, и возможен,
но ваш паяльник обморожен,
не суйтесь из дому в мороз».

О нос!..

Неотвратимы, как часы,
у нас, у вас, у капуцинов
по всем
законам
медицины
торжественно растут носы!

Они растут среди ночи
у всех сограждан знаменитых,
у сторожей,
у замминистров,
сопя бессонно, как сычи,
они прохладны и косы,
их бьют боксеры,
щемят двери,
но в скважины, подобно дрели,
соседок ввинчены носы!

(Их роль с мистической тревогой
интуитивно чуял Гоголь.)

Мой друг Букашкин пьяны были,
им снился сон:

подобно шпилью,
сбивая люстры и тазы,
пронзая потолки разбуженные,
над ним
рос
нос,
как чеки в булочной,
нанизывая этажи!

«К чему б?» — гадал он поутру.
Сказал я: «К Страшному суду.
К ревизии кредитных дел!»

30-го Букашкин сел.

О, вечный двигатель носов!
Носы длиннее — жизнь короче.
На бледных лицах среди ночи,
как коршун или же насос,
нас всех высасывает нос,

и, говорят, у эскимосов
есть поцелуй посредством носа...

но это нам не привилось.

1963

МАСЛЕНИЦА

Что трезвонит нам доподлинно
колокольная весна?

— Блин!блин!

Полблина! полблина!

четверть блина!

на!

Но Билибину билингвельно
откликается страна:

— Билл Клинтон! был Клинтон!

Пол Маккартни!

Обана!..

У Америки индейка.

Масленица нам дана.

Национальная идея

начинается с блина.

Я люблю друзей с иголки
в блинной у Тверских ворот,
где буфетчица икорочку,
чтоб блистала, облизнет.

Блин тончайший, точно кружево.

Проспиртованный при том.

Как прохожий, разутюженный
асфальтовым катком.

Масленица в преисподней.

Трахнул ведьму серафим.

Восхищение сегодня
выражаем словом «блин».

Ты — блин, я, блин,
Явлинский, блин,
я — полблина, ты — четверть блина...

Ну и блинная страна!

ШКОЛЬНИК

Твой кумир тебя взял на премьеру.
И Любимов — Ромео!
И плечо твое онемело
от присутствия слева.

Что-то будет! Когда бы час пробил,
жизнь ты б отдал с восторгом
за омытый сиянием профиль
в темноте над толстовкой.

Вдруг любимовская рапира —
повезло тебе, крестник! —
обломившись, со сцены влепилась
в ручку вашего кресла.

Стало жутко и весело стало
от такого события!
Ты кусок неразгаданной стали
взял губами, забывшись.

«Как люблю вас, Борис Леонидович! —
думал ты. — Повезло мне родиться.
Моя жизнь передачей больничною,
может, вам пригодится...»

Распрямись, мое детство согбенное.
Детство. Самозабвенье.
И пророческая рапира.
И такая Россия!..

Через год пролетал он над нами
в белом гробе на фоне небес,
будто в лодке — откинутый навзничь,
взявший весла на грудь — гребец.

Это было на погребенье.
Была воля небесная скул.
Был над родиной выдох гребельный —
он по ней слишком сильно вздохнул.

1960, 1977

КНИЖНЫЙ БУМ

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что черный том ее агатовый
куда дороже, чем агат.

Кто некогда ее лягнули,
как к отпущению грехов —
стоят в почетном карауле
за томиком ее стихов?

«Прибавьте тиражи журналам», —
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!

Все реже в небесах бензинных
услышишь журавлиный зов.
Все монолитней в магазинах
сплошной Василий Журавлев.

Страна поэтами богата,
но должен инженер копить
в размере чуть ли не зарплаты,
чтобы Ахматову купить.

Страною заново открыты
те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.
Она за книгами стоит.

Страна желает первородства.
И, может, в этом добрый знак —
Ахматова не продается,
не продается Пастернак.

1977

ГИТАРА

К нам забредал Булат
под небо наших хижин
костлявый как бурлак
он молод был и хищен

и огненной настурцией
робея и наглея
гитара как натурщица
лежала на коленях

она была смирней
чем в таинстве дикарь
и темный город в ней
гудел и затихал

а то как в реве цирка
вся не в своем уме —
горящим мотоциклом
носила по стене!

мы — дети тех гитар
отважных и дрожащих
между подруг дражайших
неверных как янтарь

среди ночных фигур
ты губы морщишь едко

к ним как бикфордов шнур
крадется сигаретка

1960

ПЛАСТИНКА

Старая песенка
мне боль ослабила,
сняла все прессинги,
как раньше, набело,
легла мне на сердце,
на «раза табула» —
табулатабулатабулатабулатабулатабулат
булатабулатабулатабулатабулатабулатабула
табулатабулатабулатабулатабулата
булата сердце
игла корябала
нам на усладу

ХРАМ

На сердце хмара.
В век безвременья
мы не построили своего храма.
Мы все — римейки.

Мы возвели, что взорвали хамы,
Нас небеса еще не простили —
мы не построили своего храма.
В нас нету стилия.

Мышки-норушки,
не сеем сами.
Красой нарышкинской, душой
нарушенной,
чужими молимся словесами.

Тишь в нашей заводи.
Но скажем прямо —
создал же Гауди молитву-ауди.
Но мы не создали своего храма.

Не в форме порно.
Но даже в сердце
мы не построили нерукотворной
домашней церкви.

Бог нас не видит.
И оттого
все наши драмы —
мы не построили своего
храма.

БЬЕТ ЖЕНЩИНА

В чьем ресторане, в чьей стране —
не вспомнишь,
но в полночь
есть шесть мужчин, есть стол, есть
Новый год,
и женщина разгневанная — бьет!

Быть может, ей не подошла компания,
где взгляды липнут, словно листья банные?
За что — неважно. Значит, им положено —
пошла по рожам, как белье полощут.

Бей, женщина! Бей, милая! Бей, мстящая!
Вмажь майонезом лысому в подтяжках.
Бей, женщина!
Массируй им мордасы!
За все твои грядущие матрасы,

за то, что ты во всем передовая,
что на земле давно матриархат —
отбить,
обуть, быть умной,
хохотать —
такая мука — непередаваемо!

Влепи ему в паяло солоницу.
Мужчины, рыцари,
куда ж девались вы?!
Так хочется к кому-то прислониться —
увы...

Бей, реваншистка! Жизнь — как белый
танец.

Не он, а ты его, отбивши, тянешь,
Пол-литра купишь.
Как он скучен, хрыч!
Намучишься, пока расшевелишь.

Ну можно ли в жилет пулять мороженым?!
А можно ли
в капронах
ждать в морозы?
Самой восьмого покупать мимозы —
можно?!

Виновные, валитесь на колени,
колонны, люди, лунные аллеи,
вы без нее давно бы околели!
Смотрите, из-под грязного стола —
она, шатаясь, к зеркалу пошла.

«Ах, зеркало, прохладное стекло,
шепчу в тебя бессвязными словами,
сама к себе губами
прислоняюсь
и по тебе
сползаю
тяжело,

и думаю: трусишки, нету сил —
меня бы кто хотя бы отлупил!..»

1964

МОРОЗНЫЙ ИППОДРОМ

В. Аксенову

Табуном рванулись трибуны к стартам.
В центре — лошади,
вкопанные в наст.
Ты думаешь, Вася,
мы на них ставим?
Они, кобылы, поставили на нас.

На меня поставила вороная иноходь.
Яблоки по крупу — е-мое...
Умеет крупно конюшню вынюхать.
Беру все финиши, а выигрыш — ее.

Королю кажется, что он правит.
Людам кажется, что им — они.
Природа и рощи на нас поставили.
А мы — гони!

*Колдуют лошади, они шепочут.
К столбу Ханурик примерз цепочкой.
Все-таки 43°...
Птица замерзла в воздухе, как елочная
игрушка.
Мрак, надвигаясь с востока, замерз
посредине
неба, как шторка
у испорченного фотоаппарата.*

*А у нас в Переделкине, в Доме творчества,
были открыты 16 форточек.*

*Около каждой стоял круглый плотный
комок
комнатного воздуха.*

*Он состоял из сонного дыхания, перегара,
тяжелых идей.*

*Некоторые заклопывают фортки марлей,
чтобы идеи не вылетали из комнаты,
как мухи.*

*У тех воздух свисал тугой и плотный,
как творог в тряпочке...*

Свистят Ханурику.

Но кто свистит?

Свисток считает, что он свистит.

Мильтон считает, что он свистит.

Закон считает, что он свистит.

*Планета кружится в свистке горошиной,
но в чьей свистульке? Кто свищет? Глядь —
упал Ханурик. Хохочут лошади —
кобыла Дунька, Судьба, конь Блед.*

Хохочут лошади.

Их стоны жутки:

«Давай, очкарик! Нажми, Андрей!»

Их головы покачиваются,

как на парашютиках,

на паре, выброшенном из ноздрей.

Понятно, мгновенно замерзшем.

Все-таки 45°...

У ворот ипподрома лежал Ханурик.

Он лежал навзничь. Слева — еще пять.
Над его круглым ртом,
короткая, как вертикальный штопор,
открытый из перочинного ножа, стояла
замерзшая Душа.

Она была похожа на поставленную
торчком
винтообразную сосульку.

Видно, испарялась по спирали,
да так и замерзла.

И как, бывает, в сосульку вмерзает
листик или веточка,
внутри ее вмерзло доказательство
добрых дел,
взятое с собой. Это был отрывок доноса
на соседа.

Над соседними тоже стояли Души, как
пустые
бутылки.

Между тел бродил Ангел.

Он был одет в сатиновый халат
подметальщика.

Он собирал Души, как порожние бутылки.

Внимательно

проводил пальцем — нет ли зазубрин.

Бракованные скорбно откидывал через
плечо.

Когда он отходил, на снегу оставались
отпечатки следов с подковками...

...А лошади Ангел — в дыму морозном
ноги растворились,
как в азотной кислоте,
шейку шаловливо отогнула, как полозья,
сама, как саночки, скользит на животе!..

1967

СТАРАЯ ПЕСНЯ

Г. Джагарову

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.

Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.

И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?

Если я, положим, янычар,
не свои ль сжигаем алтари?
Где чужие — можем различать,
но не понимаешь, где свои.

Вырванные груди волоча,
остолбеневая от любви,
мама, отшатнись от палача.

Мама! У него глаза — твои.

1968

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.

Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит, а дальше —
пуще.

Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!

Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

1967

Когда я придаю бумаге
черты твоей поспешной красоты,
я думаю не о рифмовке —
с ума бы не сойти!

Когда ты в шапочке бессейной
ко мне припустишь из воды,
молю не о души спасеньи —
с ума бы не сойти!

А за оградой монастырской,
как спирт ударит нашатырный,
послегрозовые сады —
с ума бы не сойти!

Когда отчетливо и грубо
стрекозы посреди полей
стоят, как черные шурупы
стеклянных, замерших дверей,

такое растворится лето,
что только вымолвишь: «Прости,
за что мне это, человеку!
С ума бы не сойти!»

Куда-то душу уносили —
забыли принести.
«Господь, — скажу, — или Россия,
назад не отпусти!»

1970

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

«Сестрица моя в женском вытрезвителе!
Обидели...»

Как при водолюбце Владимире Крестителе,
бабья революция воеет в вытрезвителе.

Что там пририсовано на стене

«Трем витязям»?

Полная свобода в вытрезвителе.

«Дома норму выдайте,

на работе выдайте,

только в вытрезвителе свобода от бытия...

Муж придет, как выдоен.

Я не меньше выдую.

Станем себе сами братья и мужья».

«Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле.

Мы с тобой прозрели в ледяной купели.

Давай жить нарядно, словно две наяды,

купим нам фиалки,

поступим в институт.

Фабричные фискалки от зависти помрут».

«Русь, куда несешься ты, дай ответ?»

«Я рванула сослепу на красный свет».

«Бабоньки, завязываю! Слушайте таксистку.

Этак жить — тощица. На смех гаражу!

Чтобы в рот взяла я?

эту дрянь?

Спасибо.
Я хочу быть женщиной.
Мальчика рожу».

И сразу стало слышно каждое дыхание.
В белой палате — такая тишина!

Ведь в каждой спит мадонна,
светла и осиянна,
словно тронул души кистью Тициан.

Завтра они выйдут на Преображенскую.
И у каждой будет Чудо на руках.
Будет, будет мальчик.
Будет счастье женское.
Даже если будет все не так.

1973

СВЕТ ДРУГА

Я друга жду. Ворота отворил,
зажег фонарь над скосами перил.

Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.

Он жмет по окружной, как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.

Приедет. Над сараями сосна
заранее озарена.

Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...

Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.

Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.

Зайдет вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.

Проходят годы — Германа все нет.
Из всей природы вырубают свет.

Увидимся в раю или в аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!

Сказал — приедет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979

* * *

Дорогие литсобратья!
Как я счастлив оттого,
что средь общей благодати
меня кроют одного.

Как овечка черной шерсти,
я не зря живу свой век —
оттеняю совершенство
безукоризненных коллег.

1975

ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.

Такая мятная
вода с утра —
вкус Богоматери
и серебра!

Плюс вкус свободы
без лишних глаз.
Не слово Бога —
природы глас.

Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

1970

БОЙ ПЕТУХОВ

Петухи!
Петухи!
Потуши!
Потуши!
Спор шпор,
ку-ка-рехнулись!
Урарь!
Ху-ха...
Кухарка
харакири
хор
(у, икающие хари!)

«Ни хера себе Икар!»
хр-ррр!

Какое бешеное счастье,
хрипя воронкой горловой,
под улюлюканье промчатся
с оторванною головой!

Забыв, что мертв, презрев природу,
по пояс в дряни бытия,
по горло в музыке восхода —
забыться до бессмертия!

Через заборы, всех беся, —
на небеса!

Там, где гуляют грандиозно
коллеги в музыке лугов,
как красные аккордеоны
с клавиатурами хвостов.

О лабухи Иерихона!
Империи и небосклоны.
Зареванные города.
Серебряные голоса.

(А кошка, злая, как оса,
не залетит на небеса.)

Но по ночам их кличет пламенно
с асфальтов, жилисто-жива,
как орден Трудового Знамени
оторванная голова.

1968

ВРЕМЯ НА РЕМОНТЕ

Как архангельша времен
на часах над Воронцовской
баба вывела: «Ремонт».

И спустилась за перцовкой.
Верьте тете Моте —
Время на ремонте.

Время на ремонте.
Медлят сбросить кроны
просеки лимонные
в сладостной дремоте.

Фильмы поджеймсбондили.
В твисте и нервозности
женщины — вне возраста.
Время на ремонте.

Снова клеши в моде.
Новости тиражные —
как позавчерашние.
Так же тягомотны.

В Кимрах именины.
Модницы в чулках,
в самых смелых «мини» —
только в челочках.

Мама на «Раймонде».
Время на ремонте.

Реставрационщик
потрошит да Винчи.
«Лермонтов» в ремонте.
Гаечки там подвинчивают.

*«Я полагаю, что пара вертолетов
значительно изменила бы ход
Аустерлицкого сражения.
Полагаю также, что наступил момент
произвести
девальвацию минуты.
Одна старая мин. равняется 1,4 новой.
Тогда, соответственно, количество часов
в сутках увеличивается, возрастет
производительность
труда, а в оставшееся время мы
сможем петь...»*

*Время остановилось,
Время 00 — как надпись на дверях.
Прекрасное мгновенье, не слишком ли ты
подзатянулось?*

*Которые все едят и едят,
вся жизнь которых — как затянувшийся
обеденный перерыв,
которые едят в счет 1985 года,
вам говорю я:
«Вы временны».
Канторские и конвейерные,
чья жизнь — изнурительный
производственный ритм,
вам говорю я:*

«Временно это».
Которая шьет-шьет, а нитка все
не кончается,
которые замерли в 30 м от финиша
со скоростью
270 км/никогда,
вам говорю я:
«Увы, и вы временны...»
«До-до-до-до-до-до-до-до» — он уже
продолбил клавишу,
так что клавиша стала похожа на
домино
«пусто-один»- —
«до-до-до»...

Прекрасное мгновение,
не слишком ли ты подзатянулось?

Помогите Время
сдвинуть с мертвой точки.
Гайки, Канты, лемехи,
все — второисточники.

Не на семи рубинах
циферблат Истории —
на живых, любимых,
ломкие которые.

Может, рядом, около,
у подружки ветреной
что-то больно екнуло,
а на ней все вертится.

Обнажайте заживо
у себя предсердие,
дайте пересаживать.
В этом и бессмертие.

Ты прощай, мой щебет,
сжавшийся заложник,
неизвестность щемит —
вдруг и ты заглохнешь?

Неизвестность вечная —
вдруг разожметя?
Если человеческое —
значит, приживется.

И колеса мощные
время навернет.
Временных ремонтников
вышвырнет в ремонт!

ШАЛАНДА ЖЕЛАНИЙ

Шаланда уходит. С шаландой неладно.
Шаланда желаний кричит в одиночестве.
Послушайте зов сумасшедшей шаланды,
шаланды — шаландышаландышаландыша —
л а н д ы ш а хочется!

А может, с кормы прокричала челночница?
А может, баржа недодолбанной бандерши?
Нам ландыша хочется! Ландыша хочется!
Как страшно качаться под всею командой!
В трансляции вандала, вандала, вандала
«Лаванда» лавандалаванда не кончится.

А море, вчерашнее рашен, дышало,
кидало до берега пачки цветочные.
И все писуары Марсея Дюшана
белели талантливо. Но не точно.

И в этом весь смысл королев и шалавы
последней, пронзающий до позвоночника,
и шепот моей сумасшедшей шаланды,
что я не услышал:
«Л а н д ы ш а хочется...»

ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата — при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при Всегда,

прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи все свежи
и несменяемы.

Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

* * *

Мордеем, друг. Подруги молодеют.
Не горячитесь.
Опробуйте своей моделью,
как «анти» превращается в античность.

ОБСТАНОВКА

Это мой теневой кабинет.
Пока нет:
гардероба
и полн. собр. соч. Кальдерона.
Его Величество Александрийский буфет
правит мною в рассрочку несколько лет.
Вот кресло-катапульта
времен борьбы против культа.
Тень от предстоящей иконы:
«Кинозвезда, пожирающая дракона».
Обещал подарить Солоухин.
По слухам,
VI век.
Феофан Грек.
Стол. «Кент».
На столе ответ на анкету:
«Предпочитаю «Беломор» «Кенту».

Вот жены акварельный портрет.
Обн. натура.

Персидская миниатюра.
III век. Эмали лиловой.
Сама, вероятно, в столовой...
Вот моя теневая столовая —
смотрите, какая здоровая!
На обед
все, чего нет
(след. перечисление ед).

Тень бабушки — салфетка узорная,
вышивала, страдалица, вензеля иллюзорные.
Осторожно, деда уронишь!

Пианино. «Рениш».

Мамино.

Видно, жена перед нами играла Рахманинова.
Одна клавиша полуутоплена,
еще теплая.

(Бьет.) Ой, нота какая печальная!

Сама, вероятно, в спальне.

Услышала нас и пошла наводить марафет.

«Уходя, выключайте свет!»

«Проходя через пороги,
предварительно вытирайте ноги.

Потолки новые —

предварительно вымывайте голову».

Вот моя теневая спальня.

Ой, как развалено...

Хорошо, что жены нет.

Тень от Милы, Нади, Ниннет

+14 созданий

с площади Испании.

Уголок забытых вещей!

№ 2-й,

№ 3-й,

№ 8-й — никто не признается чей!

А вот женина брошка.

И платье брошено...

наверное, опять побегла к Аэродрому
за димедролом...

Актриса, но тем не менее!
Простите, это дела семейные...

(В прихожей, черен и непрост,
кот поднимал загнутый хвост,
его в рассеянности Гость,
к несчастью, принимал за трость.)

Вот ванная.
Что-то странное!
Свет под дверью. Заперто изнутри.
Нет, не верю! Эй, Аэродромов, отвори!
Вот так всегда.

Слышите, переливается на пол вода.
(Стучит.) Нет ответа.
(От страшной догадки он делается
неузнаваем.)
О нет, только не это!..
Ломаем!

Она ведь вчера говорила —
«Если не придешь домой...»
Милая! Что ты натворила!
(Дверь высаживают.)
Боже мой!..
Никого. Только зеркало запотелое.
Перелитая ванна полна пустой глубины.
Сухие, нетронутые полотенца...

Голос из стены:
«А зачем мне вытираться,
вылетая в вентиляцию?!»

1972

* * *

Еще немного дай побыть мне так.
В окно запах глухонемой табак.

От рамы тень бретелькой на плечо.
Мне так побыть немного дай еще.

Дай мне немного так еще побыть,
не убегай умыться и попить.

Как, боже, твой благословенен край!
Еще немного так побыть мне дай.

* * *

Никто меня не провожал.
Но я не терзался обидой.
Плыл провинциальный вокзал,
пропахший мочой и оббитый.

Никто меня не провожал.
Лишь пес провожал меня лаем.
За то, что его привязал
хозяин, похмельем терзаем.

Я шел, напевая мотив.
Меня ты не провожаешь.
И имя мое прикусив,
ты мужа сейчас ублажаешь.

Мой тайный приезд и отъезд
прослеживается звездой.
Пока ей не надоест
мое пребыванье земное.

СЕСТРА

Сестра, ты в «Лесном магазине»
выстояла изюбрину,
тиха, как в монастыре.
Любовницы становятся сестрами,
но сестры не бывают возлюбленными.
Жизнь мою опережает
лунная любовь к сестре.

Дело не во Фрейде или Данте.
Ради родителей, мужа, брата, etc,
забыла сероглазые свои таланты
преступная моя сестра.

Твой упрямый лобик написал бы Кранах,
только облачко укоризны
неуловимо для мастерства,
да и руки красные
от водопроводных кранов —
святая моя сестра!

Что за дальний свет сострадания,
обретая на срок земной
человеческие очертанья,
стал сестрой?..

Жила-была девочка.
Ее рост — на шкафу зарубками.
Кто сказал,
что не труженица лобастая стрекоза?

Маешься на две ставки,
стираешь, шьешь,
не воруеть,
бесстрашная моя сестра.

Для других ты — доктор. И когда уверенно
надеваешь с короткими рукавами халат —
будто напяливаешь
безголово-безрукую Венеру.
Я с ужасом замечаю,
что торс тебе тесноват...

Ссорясь с подругой и веком или сойдя
с катушек,
когда я на острие —
скажу: «Поставь раскладушку» —
вздохнувшей моей сестре.

Сестра моя, как ты намучилась,
таща авоськи с морковью!..
Метромост над тобой грохочет
как чугунный топот Петра.
А рядом — за стенкой, за Истрою,
за Москвою —
страна живет, как сестра.

Сестра твоя по страданию,
по божеству родства,
по терпеливой тайне —
бескрайняя твоя сестра...

Сестра моя, не заболела?
Сестра моя, поспала бы...
В зимние вечера
над шитьем сутулятся
две русых настольных лампы.
Одна из них — моя сестра.

* * *

Спаси нас, Господи, от новых арестов.
Наш Рим не варвары разбили грозные.
Спаси нас, Господи, от самоварварства,
от самоварварства спаси нас, Господи.

Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся!
Мы погибаем от самоварварства.
От самоварварства спаси нас, Господи.

У нас не Демон украл Самару,
не панки съели страну, не гопники.
В публичных ариях, в домашних сварах
от самоварварства спаси наш госпиталь.
Не о себе сейчас разговариваю,
но и себя поминаю, Господи.

От мракобесья обереги нас,
от светлобесья избавь нас, Господи.
Новой победе самофракийской
не только крылья оставь, но — голову!..

Мне все же верится, Россия справится.
Есть просьба, Господи, еще одна —
пусть на обломках самоварварства
не пишут наши имена.

1989

ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос

Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
било над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди

Возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие
звезды —

Как гвозди.

Я — Гойя.

1957

ЖЕЛТЫЙ ДОМ

Проживаю в желтом доме, в желтом доме,
как в кубическом лимоне.

Быт на сломе, газ разболтан
в желтом доме, в доме желтом.

А за стенкою во внешнем доме желтом
оппадают листопадные дензнаки.

По ночам мои окошки светят золотом,
потому что они темные с изнанки.

Ко мне утро сквозь фрамуги
желтой женщиной влетит.

Обо мне в лесах округи
пресса желтая шумит.

Чаадаевской картошки понарою.

Волчьей ягоды нажреть до тошноты.

У коров наших диагноз «паранойя».

Я достаточно орал Савонаролой,
я спасаюсь шоком тишины.

В этом доме, в темном томе,

записал я Твою речь

против света, в полудреме

с золотым обрезом плеч.

В этом двухэтажном доме

я любил. А что есть кроме?

Остальное лжет.

Скомкана салфетка в тоне.

Желт, желт

между красным и зеленым,
меж закатом и газоном,
как глазунья, в невезучий
переходный жизни час,
предзакатное безумье,
желтый глаз мигает в нас.

Хоть надень на солнце шорты!
Не укрыться охламонам.
Век зажегся кофтой желтой,
завершился желтым домом.

В желчном зеркале, из рамы,
озирая мой прикид,
не белками, а желтками
рожа мерзкая глядит.

Прыгнуть бы с «Песней о Соколе»,
с крыши, проломив крыльцо!..
Но за горло держит цоколь
цокольцокольцокольцо.

Полосатый, как батоны,
теплый кот на стол залег.
Вдаришь в стенку — на ладони
сыплется яичный порошок
желтый, желтый, как тяжел ты,
да пошел ты!..
Пациенты лезут в форточку по желобу.
Пишут письма мне потом:

Адрес точен, как жетон:
Россия. Желтый дом.

ХОББИ СВЕТА

Я сплю на чужих кроватях,
сизу на чужих стульях,
порой одет в привозное,
ставлю свои книги на чужие стеллажи, —
но свет
должен быть
собственного производства.
Поэтому я делаю витражи.

Уважаю продукцию ГУМа и Пассажа,
но крылья за моей спиной
работают как ветряки.
Свет не может быть купленным
или продажным.
Поэтому я делаю витражи.

Я прутья свариваю электросваркой.
В наших магазинах не достать сырья.
Я нашел тебя на свалке.
Но я заставлю тебя сиять.

Да будет свет в тебе
молитвенный и кафедральный,
да будут сумерки, как тамариск,
да будет свет
в малиновых твоих подфарниках,
когда ты в сумерках притормозишь.

Но тут мое хобби подменяется любовью.
Жизнь расколота? Не скажи!

За окнами пахнет средневековьем.
Поэтому я делаю витражи.

Человек на 60% из химикалиев,
на 40% из лжи и ржи...
Но на 1% из Микеланджело!
Поэтому я делаю витражи.

Но тут мое хобби занимается теософией.
Пузырьки внутри сколов
стоят, как боржом.
Прибью витраж на калитку тесовую.
Пусть лес исповедуется
перед витражом.

Но это уже касается жизни, а не искусства.
Жжет мои легкие эпоксидная смола.
Мне предлагали (по случаю)
елисеевскую люстру.
Спасибо. Мала.

Ко мне прицениваются барышники,
клюют обманутые стрижи.
В меня прицеливаются булыжники.
Поэтому я делаю витражи.

1975

РУБЛЕВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.

За рулем влюбленные —
как ангелы рублевские.

Фреской Благовещенья,
резкой белизной
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!

Их одежда плещет,
рвется от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.

Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?

Осень. Небеса.
Красные леса.

1961

ДВЕ ПЕСНИ

1

ОН

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волоса твои распущенные
шептал первые слова.

Та же Ялта полутемная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо мое смятенное
шепчет первые слова.

А потом лицом в коленки
белокурые свои
наматывает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.

Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца черные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».

В этом золоте и черни
есть смущенные черты,
мятный свет звезды дочерней,
счастье с привкусом беды.

Оправдались суеверия.
По бокам моим встает
горестная артиллерия —
ангел черный, ангел белая —
перелет и недолет!

Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далекого,
говорю святое «ты».

Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамыны
рядом с ненавистью к ней.

Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
черная и золотая —
две цепочки из колец.

Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твое «до завтра».
До завтра б досуществовать!

ОНА

Волосы до полу, черная масть — мать.
 Дождь белокурый, застенчивый в дрожь —
дочь.

«Гость к нам стучится, оставь меня с ним
 на всю ночь,
 дочь».

«В этой же просьбе хотела я вас умолять,
 мать».

«Я — его первая женщина, вернулся
 до ласки охоч,
 дочь».

«Он — мой первый мужчина, вчера
 я боялась
 сказать,
 мать».

«Доченька... Сволочь!.. Мне больше не дочь,
 прочь!..»

.....

«Это о смерти его телеграмма,
 мама!..»

1971

СПАСИТЕ ЧЕРЕМУХУ

Спасите черемуху! Как в целлофаны,
деревья замотаны исчервленные.
Вы в них целовались. Летят циферблаты.
Спасите черемуху!

Вы, гонщики жизни в «Чероки» красивом,
ты, панк со щеками, как чашка Чехонина...
Мы без черемухи — не Россия.
Спасите черемуху.

Зачем красоту пожирают никчемные?!
К чему, некоммерческая черемуха,
ты запахом рома дышала нам в щеки,
как тыщи волшебных капроновых щеточек!

Ее, как заразу, как класс, вырубают
под смех зачумленный.
Я из солидарности в белой рубаше
сутуло живу, как над речкой черемуха.

Леса без черемухи — склад древесины.
Черемухи хочется! Так клавишину
Чайковского хочется! К вечеру сильно
и вкладчице «Чары», и телке в косынке,
несчастливым в отсидке, и просто России,
опаутиненной до Охотского,
черемухи хотца, черемухи хотца,
вместо газа одноименного
черемухи хочется. Сдохла черемуха.

Приду, обниму тебя за оградой,
но сердце прилипнет к сетям шелкопряда.
Шевелятся черви в душе очарованной...
Спасите черемуху!

Придет без черемухи век очередной...
Тебя мы сожрали, чмуры и чмуренихи.
Лесную молитву спасите черемуху!
Спасите черемухой.

Ну что тебе надо еще от меня?
Чугунна ограда. Улыбка темна.
Я музыка горя, ты музыка лада,
ты яблоко ада, да не про меня!

На всех континентах твои имена
прославил. Такие отгрохал лампы!
Ты музыка счастья, я нота разлада.
Ну что тебе надо еще от меня?

Смеялась: «Ты агнел?» — я лгал, как змея.
Сказала: «Будь смел» — не вылезил
из спален.

Сказала: «Будь первым» — я стал гениален,
ну что тебе надо еще от меня?

Исчерпана плата до смертного дня.
Последний горит под твоим снегопадом.
Был музыкой чуда, стал музыкой яда,
ну что тебе надо еще от меня?

Но и под лопатой спую, не вина:
«Пусть я удобренье для божьего сада,
ты — музыка чуда, но больше не надо!
Ты случай досады. Играй без меня».

И вздрогнули складни, как створки окна.
И вышла усталая и без наряда.
Сказала: «Люблю тебя. Больше нет сладу.
Ну что тебе надо еще от меня?»

ПЕРЕХОД

За что мне этот переход?

Я в подсознание Москвы
спустился в судьбы и мослы,
где каждый душу продает.
Я к Склифосовке в переход
от бешенства шел на укол.
И каждый, кто сюда пришел,
как урка, клал кишки на стол.

Кто лез из «Вольвы» наверху,
свою здесь нюхал требуху.
И женщина под общий смех
рожала на виду у всех.

Не из протеста — от тоски,
носки развесив, как беду,
народ кладет свои кишки,
когда совсем невмоготу.
Господь нас превратил в господ.
На что нам этот переход?

Был скоточеловекобог,
стал богочеловекоскот.
Телка, слаба на передок,
несла для пыток утюжок.
Криминогенная пила
лежала тенью от Кремля.

Была опасной колбаса —
колба из пса.

И целлофан вместо гробов
искали толпы мертвецов.
Лишась бердяевских примет,
наш Дух переходил в Предмет.

Инстинкт пластинками синел.
Печаль садилась на шинель.
Мысль разносила менингит.
Стаканы мутны от идей.
Им было больно ими быть,
не быть было еще больней.

Безвыходно в стране той жить,
безвыходно расстаться с ней.
И было стыдно русским быть,
не быть было еще стыдней.
Шинель надета на гуру.
И беспредел смердел в углу.

Я торопился на иглу.

Вязали бешенство в мешок.
Сажали душу на горшок.
Над городом зиял Гор-шок.
России расширялся шов
в душе и через потолок.

Дай передыха, переход!
С клочка газеты «Эрих Хон...»
порошковая душа
жалась в банке алкаша.

Он пред собой сгребал, как краб,
свой прожитый грошовый скарб.
Лежал, как лилипута скальп,
презерватив — пупок любви.
Хичкок.

Я отдал бы кишки свои,
чтобы не видеть их кишок!

Но прорастала сквозь меня
щетина псиная моя.
Резнувшийся чертополох,
стояла Ты на четырех.
Были похожи на Твои
пульсирующие мозги
под злыми мухами Москвы —
Твой смех, как боль наоборот...

За что нам этот переход?
За что всеобщий этот шок
души на уровне кишок?
За что, тушитель, нас поджег?
Россия пьет на посошок.

Я в Склифософский переход
спустился, как в святой приход.
Куда уходим? Что нас ждет?
За что нам этот переход?

* * *

Как спасти страну от дьявола?
Просто я останусь с нею.
Врачевать своею аурой,
что единственно имею.

Не ура-патриотизмом,
не ударом побольнее —
тайной аурой артиста,
что единственно умею.

РОССИЯ БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ

В России нет очередей.
Народ добился, чародей.
А может, это не Россия?
Одни машины за бензином.
Иль нет в Отечестве людей,
чтоб постоять за апельсинами,
за сникерсами из резины?!
К Зосиме нет очередей,
засим преступник он, Зосима.
Один стою в ряду осинок.
Идеи нет в тоске полей,
Идеи нет в шоссе трассирующем,
Идеи нет в жилых массивах...
А вдруг и правда не Россия?
В посольствах очередь за ксивой.
В Россию нет очередей.

В НЕПОГОДУ

З.Б.

В дождь как из Ветхого завета
мы с удивительным детиной
плечом толкали из кювета
забуксовавшую машину.
В нем русское благообразие
шло к византийской ипостаси.
В лицо машина била грязью
за то, что он ее вытаскивал.
Из-под подфарника пунцового
брандспойтово хлестала жижа.
Ну и колеса пробуксовывали,
казалось, что не хватит жизни!
Всего не помню, был незряч я
от этой грязи молодецкой.
Хозяин дачи близлежащей
нам чинно вынес полотенца.
Спаситель отмывался, терся,
отшучивался, балагурия.
И неумелая шоферша
была лиха и белокура.
Нас высадили у заставы,
на перекрестке мокрых улиц.
Я влево уходил, он вправо.
Дороги наши разминулись.

1972

ЗЕВАКА

Я — Москвы зевака,
снайперов мишень.
Нас с моста эвакуируют
взашей.
Все, как у «Живаго».
Без Христа страшней.

На витринах Снайдерсы,
а в кармане — вакуум.
Сникерсы и снайперы.
Что-то рядом звякнуло.
Что-то рядом просвистело.
Интересное кино.
Где-то бродит мое тело?
А душе не все ль равно?

Мы — случайные мишени,
мы зеваки, я и ты,
в нас постыдное смешенье
любопытства и беды.

Позабыв хохмить и охать,
я гляжу на Белый дом,
почерневший, словно ноготь
от удара молотком.

Что-то сердце хватануло.
Я гляжу позор страны,
как вверху клавиатуры
стали клавиши черны.

А на улице Неждановой,
где ходил я час назад,
разбросав стекло несданное,
три застреленных лежат.

5 октября 1994 г.

ОГЛЯНИСЬ ВПЕРЕД

Мы летим вперед,
а глядим назад.
Какой раньше рай!
Какой раньше ад!

Мой родной народ,
оглянись вперед!

ЗОМБИ ЗАБВЕНЬЯ

Я проснулся от взгляда. Это было у Лобни.
За окошком стояла зомби.

И какая-то потусторонняя сила
внутри форточку отворила.

Моя зомби забвенья, ты стояла в ознобе,
по колено в прощенье,
по колено в сугробе,
потеряв одну туфлю,
сжав другую, как бомбу, —
моя зомби, программу забывшая зомби!

Забинтованный палец с проступившей
зеленкой
теребил кончик елочки,
как приспущенный зонтик.

Взгляд ее был отдельным.
Он стоял с нею рядом,
заползал в сновиденье.
Все меж мною и садом
было недоуменно-вопрошающим взглядом
уголовного взлома и душевного слома,
смилуйся, распрограммируйся, зомби!

Я открыл ей окошко. Вся дрожит, но
не входит.

Урезонить паломниц
в мое хобби не входит.

И несущая нас непонятная сила
повторяла:
«Забыла, я что-то забыла...» —
по дорогам земным и небесным
дорогам —
мы забыли программу, внушенную Богом.

Смилуйся, распрограммируйся, зомби!
Смилуйся, распрограммируйся, поле!
Распрограммируйся, серое солнце,
в мир, что задумывался любовью.

Распрограммируйся, туфля-подснежник!
Смилуйся, распрограммируйся, поезд!
Жизнью обертывается позднее
эта и мне непонятная повесть.

Амба. Меня ты назавтра убила.
Но не о том я молю с горизонта:
это тебя не освободило?
Милая! Распрограммируйся, зомби!

ИСКУШЕНИЕ

Л. Додину

Сквозь асфальт, сквозь фальстарт,
ад преград — рос,
а ему говорят, говорят — брось,
а ему говорят, говорят — сор.
Ну, а он говорит, говорит — сюр!
А ему говорят, говорят — вон!
Ну, а он говорит, говорит — нов,
а ему говорят, говорят — раб!
Ну, а он говорит, говорит — рэп,
а ему говорят, говорят — груб,
ну, а он говорит, говорит — ...бург,
а ему говорят, говорят — катафалк.
Ну, а он говорит, говорит — кайф,
а ему говорят, говорят — марксэнгельс.
Ну, а он говорит, говорит — мой ангел,
а ему говорят, говорят — бл...
Ну, а он говорит, говорит — бл. Августин.
А ему говорят, говорят — стоп!
Ну, а он говорит, говорит — блеф,
а ему говорят, говорят — хлев.
Ну, а он говорит — Христос,
а ему говорят, говорят — видак,
ну, а он говорит, говорит — Давид.
А ему говорят, говорят — Дон Кихот.
Ну, а он говорит, говорит — мельница,
а ему говорят, говорят — крест.
Ну, а он говорит, говорит — круг.
А ему говорят, говорят — хаш,

а ему говорят, говорят — там.
Ну, а он говорит, говорит — шах,
ну, а он говорит, говорит — мат!..
А ему говорят, говорят — прав.
Ну, а он говорит, говорит — Лев.

Нам, как аппендицит,
поудалили стыд.

Бесстыдство — наш удел.
Мы попираем смерть.
Ну, кто из нас краснел?
Забыли, как краснеть!

Сквозь толщи наших щек
не просочится свет.
Но по ночам — как шов,
заноеет — спасу нет!

Я думаю, что Бог
в замену глаз и уш
нам дал мембрану щек,
как осязанье душ.

Горит моя беда,
два органа стыда —
не только для бритья,
не только для битья.

Спускаюсь в чей-то быт,
смутясь, гляжу кругом —
мне гладит щеки стыд
с изнанки утюгом.

Как стыдно, мы молчим.
Как минимум — сдохшим.

Мне стыдно писанин,
написанных самим.

Интеллигенция!
Как ты изолгалась,
читаешь Герцена,
для порки заголясь.

Далекий ангел мой,
стыжусь твоей любви
авиазаказной...

Мне стыдно за твои

соленые, что льешь.
Но тыщи раз стыдней,
что не отыщешь слез
на дне души моей.

Смешон мужчина мне
с напухшей тучей глаз.
Постыднее вдвойне,
что это в первый раз.

И черный ручеек
бежит на телефон
за все, за все, что он
имел и не берег.

За все, за все, за все,
что было и ушло,
что сбудется ужо,
и все еще — не все...

В больнице режиссер
чернеет с простыней.
Ладони распростер.
Но тыщи раз стыдней,

что нам глядит в глаза,
как бы чужие мы,
стыдливая краса
хрустальнейшей страны —

застенчивый укор
застенчивых лугов,
застенчивая дрожь
застенчивейших рощ...

1967

НОТЫ МЕЛАНХОЛИИ

БЕСЕДА В РИМЕ

Я спросил у Папы Римского:
«Вы верите в тарелки?»
Улыбнувшись как нелепости, мне ответил
Папа: «Нет».

И Христос небес касался,
легкий, как дуга троллейбуса,
чтоб стекала к нам энергия,
движа мир две тыщи лет.

В папскую библиотеку
дух Ивана навевался.
И шуршал рукав папирусный. Был
по времени обед.

Где-то к Висле мчались лебеди.
Шла сикстинская побелка.
И на дне реки познания поблескивал
стиллет.

Пазолини вел на лежбище по Евангелью
и Лесбосу.
Боже, где надежда теплится?
Кому вернуть билет?

МОНОЛОГ МЕРЛИН МОНРО

Я Мерлин, Мерлин.
Я героиня
самоубийства и героя.
Кому горят мои георгины?
С кем телефоны заговорили?
Кто в костюмерной скрипит лосиной?
Невыносимо,

невыносимо, что не влюбиться,
невыносимо без рощ осиновых,
невыносимо самоубийство,
но жить гораздо
невыносимей!

Продажи. Рожи. Шеф ржет, как мерин
(Я помню Мерлин.
Ее глядели автомобили.
На стометровом киноэкране
в библейском небе,
меж звезд обильных,
над степью с крохотными рекламами
дышала Мерлин,
ее любили...

Изнемогают, хотят машины.
Невыносимо),
невыносимо
лицом в сиденьях, пропахших псиной!

Невыносимо, когда насильно,
а добровольно — невыносимей!

Невыносимо прожить, не думая,
невыносимее — углубиться.
Где наша вера? Нас будто сдунули,
существованье — самоубийство,

самоубийство — бороться с дрянью,
самоубийство — мириться с ними,
невыносимо, когда бездарен,
когда талантлив — невыносимей,

мы убиваем себя карьерой,
деньгами, ножками загорелыми,
ведь нам, актерам,
жить не с потомками,
а режиссеры — одни подонки,

мы наших милых в объятьях душим,
но отпечатываются подушки
на юных лицах, как след от шины,
невыносимо,

ах, мамы, мамы, зачем рожают?
Ведь знала мама — меня раздавят,
о кинозвездное оледененье,
нам невозможно уединенье,
в метро,
в троллейбусе,
в магазине
«Приветик, вот вы!» — глядят разини,

невыносимо, когда раздеты
во всех афишах, во всех газетах,
забыв,
что сердце есть посередке,
в тебя завертывают селедки,
лицо измято,
глаза разорваны
(как страшно вспомнить во «Франс-
Обсервере»
свой снимок с мордой самоуверенной
на обороте у мертвой Мерлин!).

Орет продюсер, пирог уписывая:
«Вы просто дуся,
ваш лоб — как бисерный!»
А вам известно, чем пахнет бисер?!
Самоубийством!

Самоубийцы — мотоциклисты,
самоубийцы спешат упиться,
от вспышек блицев бледны
министры —
самоубийцы,
самоубийцы,
идет всемирная Хиросима,
невыносимо,
невыносимо все ждать,
чтоб грянуло,
а главное —
необъяснимо невыносимо,
ну, просто руки разят бензином!

Невыносимо
горят на синем
твои прощальные апельсины...

Я баба слабая. Я разве слажу?
Уж лучше — сразу!

1963

НОЧНОЙ АЭРОПОРТ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Автопортрет мой, реторта неона, апостол
небесных ворот —
аэропорт!

Брезжат дюралевые витражи,
Точно рентгеновский снимок души.

Как это страшно, когда в тебе небо стоит
в тлеющих трассах
необыкновенных столиц!

Каждые сутки
тебя наполняют, как шлюз,
звездные судьбы
грузчиков, шлюх.

В баре, как ангелы, гаснут твои алкоголики.
Ты им глаголешь!

Ты их, прибитых,
возвышаешь!
Ты им «Прибыть»
возвещаешь!

Ждут кавалеров, судеб, чемоданов, чудес...
Пять «Каравелл»
ослепительно
сядут с небес!

Пять полуночиц шасси выпускают устало.
Где же шестая?

преодоленья

несущих конструкций.

Вместо каменных истуканов

стынет стакан синевы —

без стакана.

Рядом с кассами-теремами

он, точно газ,

антиматериален!

Бруклин — дурак, твердокаменный черт.

Памятник эры —

аэропорт.

1961

Сыграй мне полонез Огинского!
Дешевки хочется, огнистого.
В пошлятине и дешевизне
есть боль, оплаченная жизнью.

Мсти, мсти, мадмуазель Грушницкая!
За сверхлюдей, за ложь романов,
за полумесяцы брусничные
твоей помады на стаканах.

За всю судьбу нашу вокзальную,
за жить попытку истеричную,
за городок провинциальный,
опохмелившийся «Столичною».

И вдруг прервешь свой визг униженный,
упав на клавиши с локтями.
Такую чистоту увижу я,
глядящую в нас состраданьем!

Сквозь эту исповедь в отеле
вдруг понял я — почему именно
Он свое умершее тело
такой, как ты, доверил вымыть...

Еще, еще одну убили.
Да! — будет Свет, а не группешник.
Да! — не случались, а любили,
Да! — королева, а не пешка.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПЛЯЖИ

Людмила, в сочельник,
Людмила, Людмила,
в вагоне зажженная елочка пляшет.
Мы выйдем у Взморья.
Оно нелюдимо.
В снегу наши пляжи!

В снегу наше лето.
Боюсь провалиться.
Под снегом шуршат наши тени песчаные.
Как если бы гипсом
криминалисты
следы опечатали.

В снегу наши августы, жар босоножек —
все лажа!
Как жрут англичане огонь и мороженое,
мы бросимся навзничь
на снежные пляжи.

Сто раз хоронили нас мудро и матерно,
мы вас «эпатируем счастьем», мудилы!..
Когда же ты встанешь,
останется вмятина —
в снегу во весь рост
отпечаток
Людмилы.

Людмила,
с тех пор в моей спутанной жизни

звенит пустота —
в форме шеи с плечами,
и две пустоты —
как ладони оттиснуты,
и тянет и тянет, как тяга печная!

С звездой во лбу прибежала ты осенью
в промокшей штормовке.
Вода западала в надбровную оспинку.
(Наверно, песчинка прилипла к формовке.)

Людмила, ау! Я помолвлен с двойняшками.
Не плачь. Не в Путивле.
Как рядом болишь ты,
подушку обмявши,
и тень жалюзи
на тебе,
как тельняшка...

Как будто тебя
от меня ампутировали.

ПРОЩАНИЕ С МИКРОФОНОМ

Театр отдался балдежу.
Толпа ломает стены.
Но я со сцены ухожу.
Я ухожу со сцены.

Я, микрофонный человек,
я вам пою век целый.
Меня зовут — XX век.
Я ухожу со сцены.

Со мной уходят города
и стереосистемы,
грех опыта цвета стыда,
науки «нотабена»,
и одиночества орда —
вы все уходите туда —
и в микрофонные года
уходит сцена.

На ней и в годы духоты
сквозило переменной.
Вожди вопили: «Уходи!»
Я выходил на сцену.

Я не был для нее рожден.
Необъяснима логика.
Но дышит рядом стадион,
как выносные легкие.

Мы на единственной в стране
площадке без цензуры

смысл музыки влагали в не-
цензурные мишуры.

Звучит сейчас везде она.
Пой, птица, без решеток!
Скучна
мне сцена разрешенных.

К тебе приду еще не раз —
уткнусь в твои колена.
Нам невозможно жить без нас!
Я уйду со сцены.

Люблю твоих конструкций ржу,
как лапы у сирены.
Но я со сценой уйду,
я уйду со сценой.

Мчим к голографий рубежу.
Там сцены нет, что ценно.
Но я со сценой уйду,
я уйду со сценой.

Благодарю, что жизнь дала,
и обняла со всеми,
и посадила на крыла.
Они зовутся Время.

Но в новых снах, где ночь и Бог,
мне будет сцена сниться —
как с черной точкою желток,
который станет птицей.

ОТВЕТ НА ЗАПИСКУ

Все пишут — я перестаю.
О Сталине, Высоцком, о Байкале,
Гребенщикове и Шагале
писал, когда не разрешали.

Я не хочу «попасть в струю».

МОНОЛОГ АКТЕРА

Провала прошу, провала.
Гаси ж!
Чтоб публика бушевала
и рвала в клочки кассирш.

Чтоб трусиками, в примерочной
меня перематюгав,
зареванная премьерша
гуляла бы по щекам!

Мне негодование дорого.
Пусть в рожу бы мне исторг
все сгнившие помидоры
восторженный Овощторг!

Да здравствует неудача!
Мне из ночных глубин
открылось — что вам не маячило.
Я это в себе убил.

Как школьница после аборта,
пустой и притихший весь,
люблю тоскою аортовой
мою нерожденную вещь.

Прости меня, жизнь.
Мы — гости,
где хлеб, и то не у всех,
когда земле твоей горестно,
позорно иметь успех.

ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар! Пожар!

По сонному фасаду
бесстыже, озорно
гориллой
краснозадою
взвывается окно!

А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!

Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.

Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!

Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,
райкомы в рококо!

О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.

Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ,
Мы все перегораем.
Живешь — горишь.

А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...

...Все выгорело начисто.
Милиции полно.
Все — кончено?
Все — начато!
Айда в кино!

1957

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас может быть четверо.
Несемся в машине как черти.
Оранжеволоса шоферша.
И куртка по локоть — для форса.

Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя ангел на вид,
люблю твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!

В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.

Люблю, когда, выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
Права у меня отобрали...

Понимаешь, пришили превышение
скорости в возбужденном состоянии.
А шла я вроде нормально...»
Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант наш, конечно, мудрей.
Но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.

Обязанности поэта
нестись, позабыв про — ОРУД.
Брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.

Жми, Белка, божественный кореш,
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственнейшая из скоростей!

Что нам впереди предначертано?!.
Нас мало. Нас может быть четверо.
Мы мчимся — а ты божество!
И все-таки нас большинство.

* * *

Сладким ротиком от халвы,
нежно щечки надувши, как сахарница,
удивленно ответили Вы:
«Ну кто сейчас трахается?!»

В окнах лезут авто на авто.
Голубица от страсти отряхивается.
Одеваясь, сказали: «Ну кто
сейчас не трахается?!»

ДЕРЕВЯННЫЙ ЗАЛ

Я люблю в Консерватории
не Большой, а Малый зал.
Словно скрипку первосортную,
его мастер создавал.

И когда смычок касается
его певчих древесин,
Паганини и Касальсы
не соперничают с ним.

Он касается Истории,
так что слезы по лицу.
Липы спиленные стонут
по Садовому кольцу.

Сколько стона заготовили...
Не перестраивайте вы
Малый зал Консерватории —
скрипку скрытую Москвы.

Деревянные сопрано
венских стульев без гвоздей.
Этот зал имеет право
хлопать посреди частей.

Белой байковой прокладкой
скутан пол и потолок —
исторической прохладой,
чтобы голос не продрог.

Когда сердце сиротою,
не для суетных смотрин
в малый сруб Консерватории
приходить люблю один.

Он еще дороже вроде бы,
что ему грозит пожар —
деревянной малой родине.
Обожаю Малый зал.

Его зрители — студенты
с гениальностью в очах
и презрительным брезентом
на непризнанных плечах.

Пресвятая профессура
исчезающей Москвы
нос от сбившейся цезуры
морщит, как от мошкары.

В этом схожесть с братством ложи
я до дрожи узнавал.
Боже,
как люблю я Малый зал!

Даже не консерваторская,
а молитвенная тишь...
В шелковой косовороточке
тайной свечкой ты стоишь.

Облак над Консерваторией
золотым пронзен лучом —
как видение Егория
не с копьем, но со смычком.

ПИР

Человек явился в лес,
всем принес деликатес:

лягушонку
дал сгущенку,

дал ежу,
что — не скажу,

а единственному волку
дал охотничью водку,

налил окуню в пруды
мандариновой воды.

Звери вежливо ответили:

«Мы еды твоей отведали.
Чтоб такое есть и пить,
надо человеком быть.
Что ж мы попусту сидим,
хочешь, мы тебя съедим?»

Человек сказал в ответ:

«Нет.

Мне ужасно неудобно,
но я очень несъедобный.

Я пропитан алкоголем,
аллохолом, аспирином.

Вы меня видали голым?
Я от язвы оперируем.

Я глотаю утром водку,
следом тассовскую сводку,
две тарелки, две газеты,
две магнитные кассеты,
и коллегу по работе,
и два яблока в компоте,
опыленных ДДТ,
и т.д.

Плюс сидит в печенках враг,
курит импортный табак.
В час четыре сигареты.
Это убивает в день
сорок тысяч лошадей.

Вы хотите никотин?»
Все сказали: «Не хотим,
жаль тебя. Ты — вредный, скушный:
если хочешь — ты нас кушай».
Человек не рассердился
и, подумав, согласился.

1975

СЕКС-КОНТРЫ

Оцепление оцепенело.
Толпа голых на Маяковке.
Партия сексуальных контрреволюционеров
проводит первую маевку.

Фасоны развратны и лицемерны.
Нудисты бреют козла.
Сексуальные контрреволюционеры
идут в чем Родина родила.

Сексуальные Робеспьеры,
бросьте эксы! В свету реклам
сексуальные контрреволюционеры
превращают в барышень дам.

«Купите бабушкин кекс!
И екатерининский секс!
Вы чемпион. Но экс...»

И гекз-
аметры слышны в речах:
На Джоконде усы Сервантеса.
Превративши нули в рули,
наши новые консерваторы
стоят на древнего Дали.

И ты, сексуальная контрреволюционерка,
выйдешь в сад, от измен устав, —
где жасмин расцвел, как галлюцинация,
как белый рояль в кустах.

Все меньше тебя волнует концепт,
все больше Первый концерт,

вдыхаешь сирень, как поэт К.Р. —
сексуальный контрреволюционер.

«Мы идем вперед задом, сменив знамена.
Отключай электричество, познанья свеча!
Молодежь подхватывает традиционное
знамя Ильича.
Петра Ильича».

Я — MONEY.

Фирма —
маниманиманимани — *нема* —
вложи в дома! —
неманиманиманимани-Манэ, 4 Мани,
мы в романе! —
маниманиманимани — *нема* —
тюрьма — из-за дерьма? —
маниманияманияМММанияманияманиямани —
я — манияманимани —
НЕМА

ХОР НИМФ

Я 41-я на Плисецкую,
26-я на плоды чешские,
30-я на Таганку,
35-я на Ваганьково,
кто на Мадонну — запись на Морвокзале,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
Кто был девятой, станет десятой,
Борисова станет Мусатовой,
я 16-я к главному,
75-я на Глазунова,
110-я на аборты
(придет очередь — подработаю),
26-я на фестивали,
а Вы с ребенком, тут не стояли!
47-я на автодетали
(меня родили — и записали),
я уже 1000-я на автомобили
(меня записали — потом родили),
что дают? кому давать?
А еще мать!
Я 45-я за тридцать пятыми,
а Вы с ребенком, чего тут пялитесь?
Кто на Мадонну — отметка в 10-ть.
А Вы с ребенком — и не надейтесь!
Не вы, а я — 1-я на среду,
а Вы — первая куда следует...
(Продолжение следует)

НЕ ЗАБУДЬ

Человек надел трусы,
майку синей полосы,
джинсы белые, как снег,
надевает человек.

Человек надел пиджак,
на него нагрудный знак
под названьем «ГТО».
Сверху он надел пальто.

На него, стряхнувши пыль,
он надел автомобиль.

Сверху он надел гараж
(тесноватый — но как раз!),
сверху он надел наш двор,
как ремень надел забор,
сверху наш микрорайон,
область надевает он.

Опоясался как рыцарь
государственной границей.

И, качая головой,
надевает шар земной.

Черный космос натянул,
крепко звезды застегнул,
Млечный Путь — через плечо,
сверху — кое-что еще...

Человек глядит вокруг. Вдруг —
у созвездия Весы
вспомнил, что забыл часы.

(Где-то тикают они
позабытые, одни?..)

Человек снимает страны,
и моря, и океаны,
и машину, и пальто.
Он без времени — ничто.

Он стоит в одних трусах,
держит часики в руках.
На балконе он стоит
и прохожим говорит:
«По утрам, надев трусы,
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЧАСЫ!»

ЛАСТОЧКИ

На май обрушились метели.
Проснулся — ласточек полно.
Две горных ласточки влетели
в мое окно. Мое окно
они открыли, леденя —
небесно-бедственная весть!
Теперь сидят на батарее,
высокомерничают есть,
бесстыдничают в оперенье,
в них что-то есть. Какая спесь!

Пошли по моим книгам зыркать,
искать жемчужное зерно.
К их ключикам-малокозыркам
явилась третья сквозь окно.
Она, как чьи-то мысли дальние,
часами может замирать.
На лоб оконочный спадает
крыло ненужное, как прядь.

Я выпустил три синих тома.
И вот сигнал, что кто-то их
там прочитал в мирах бездомных
и мне отправил три своих.
Чем отдарю я дар твой тихий
и это счастье повидать,
как треугольные пловчихи —
из угла в угол и опять, —
сто верст пытаюсь налетать,
перекрестили красотой
мой дом, как синее письмо!

Шуршат их крылышки в кроссовках,
как бог Гермес. И все сине!..

О небесах напоминанье
они встречали не без зла.
А может, мы не понимаем,
что значат наши небеса?

Пока они не улетели,
я щелкал с них фотоэтюды.
Я улетел через неделю.
В квартире ласточки живут.

БЕЗ РИФМ

ВОЛЬНООТПУЩЕННИК ВРЕМЕНИ

Вольноотпущенник Времени возмущает
его рабов.
Лауреат Сталинской премии на десять
годов
ввел формулу Тяжести Времени.
Мир к этому не готов.

Его оппонент в полемике выпрыгнул
из своих зубов.
Вольноотпущенник Времени восхищает его
рабов.

Был день моего рождения. Чувствовалась
духота.
Ночные персты сирени, протягиваясь
с куста,
губкою в винном уксусе освежали
наши уста.

Отец мой небесный, Время, испытывал
на любовь.
Созвездье Быка горело. С низин подымался
рев —
в деревне в хлеву от ящура живьем
сжигали коров.

Отец мой небесный, Время, безумен
Твой часослов!
На неподъемных веках стояли гири часов.
Пьяное это из темени кричало, ища коробок,
что Мария опять беременна, а мир опять
не готов...

Вольноотпущенник Времени вербует ему
рабов.

1975

ПАРИЖ БЕЗ РИФМ

Париж скребут. Париж парадят.
Бьют пескоструйным аппаратом.
Матрон эпохи рококо
продраивает душ Шарко!

И я изрек: «Как это нужно —
содрать с предметов слой наружный,
увидеть мир без оболочек,
порочных схем и стен барочных!..»

Я был пророчески смешон,
но наш патрон, мадам Ланшон,
сказала: «О-ля-ля, мой друг!..»
И вдруг —
город преобразился,
стены исчезли, вернее, стали прозрачными,
над улицами, как связки цветных шаров,
висели комнаты,
каждая освещалась по-разному,
внутри, как виноградные косточки,
горели фигуры и кровати,
вещи сбросили панцири, обложки, оболочки,
над столом
коричнево изгибался чай, сохраняя форму
чайника,
и так же, сохраняя форму водопроводной
трубы,
по потолку бежала круглая серебряная вода,
в соборе Парижской Богоматери шла месса,
как сквозь аквариум,

просвечивали люстры и красные кардиналы,
архитектура испарилась,
и только круглый витраж розетки
почему-то парил над площадью, как знак:
«Проезд запрещен»,
над Лувром из постаментов,
как 16 матрасных пружин,
дрожали каркасы статуй,
пружины были во всем,
все тикало,
о Париж,
мир паутинок, антенн и оголенных
проволочек,
как ты дрожишь,
как тикаешь мотором гоночным,
о сердце под лиловой пленочкой,
Париж
(на месте грудного кармашка, вертикальная,
как рыбка,
плыла бритва фирмы «Жиллет»)!

Париж, как ты раним, Париж,
под скорлупою ироничности,
под откровенностью, граничащей
с незащищенностью.

Париж,
в Париже вы одни всегда,
хоть никогда не в одиночестве,
и в смехе грусть,
как в вишне косточка,
Париж — горящая вода,
Париж,

как ты наоборотен,
как бел твой Булонский лес,
он юн, как купальщицы,
бежали розовые собаки,
они смущенно обнюхивались,
они могли перелиться одна в другую,
как шарики ртути,
и некто, голый, как змея,
промолвил: «Чернобурка я»,
шли люди,
на месте отвинченных черепов,
как птицы в проволочных
клетках,
свистали мысли.

Монахиню смущали мохнатые мужские
видения,
президент мужского клуба потряслся
разоблачениями
(его тайная связь с женой раскрыта,
он опозорен),
над полисменом ножки реяли,
как нимб, в серебряной тарелке
плыл шницель над певцом мансард,
в башке ОАСа оголтелой
дымился Сартр на сковородке,
а Сартр,
наш милый Сартр,
задумчив, как кузнечик кроткий,
жевал травиночку коктейля,
всех этих таинств

мудрый дух
в соломинку,
как стеклодув,
он выдул эти фонари,
весь полый город изнутри,
и ратуши и бюшери,
как радужные пузыри!

Я тормошу его:
«Мой Сартр,
мой сад, от зим не застекленный,
зачем с такой незащищенностью
шары мгновенные
летят?

Как страшно все обнажено,
на волоске от ссадин страшных,
их даже воздух жжет, как рашпиль,
Мой Сартр!
Вдруг все обречено?!»
Молчит кузнечик на листке
с безумной мукой на лице.

Било три...

Мы с Ольгой сидели
в «Обалделой лошади»,
в зубах джазиста изгибался звук в форме
саксофона,
женщина усмехнулась.
«Стриптиз так стриптиз», —
сказала женщина,

и она стала сдирать с себя не платье,
нет, —
кожу!

как снимают чулки или трикотажные
тренировочные костюмы.

— О! о! —

последнее, что я помню, это белки,
бесстрастно-белые, как изоляторы,
на страшном, орущем, огненном лице...

«...Мой друг, растает ваш глянсе...»

Париж. Друзья. Сомкнулись стены.
А за окном летят в веках
мотоциклисты
в белых шлемах,
как дьяволы в ночных горшках.

1963

ИСПОВЕДЬ «СЫРИХИ»

— Почему ты рыдаешь, «сыриха со слезой»?

— Чай, со сцены влетела соринка.
Мисс Успех — это я, дорогой.

Я тебе расскажу о «сырихе».
Так актрисы поклонниц зовут.
Мы загадываем, как ассирийки,
судьбы их сокровенных минут.

Все продажно — в душе и в ширинке.
Бескорыстно лишь в нашем бреду
абсолютное сердце «сырихи»,
что колотится в темном ряду.

Кто в кармашек почтового ящика
сунул ландыш лесной?
Кем Мадонна была кормящая —
не сырихой ли со слезой?

Мы звезду заряжаем из кресел
у соперников на виду.
Ну, а скурвится если —
отхлестаем букетом звезду.

В эротическом сиром галопе
у подъездов, меж рыхлой пурги,
я и мужа нашла на галерке.
С ним играли в четыре руки.

И когда замолкает Рихтер.
Зал затих. И выходит фальцет.
Мы тогда начинаем, «сырихи»,
для ладоней коронный концерт.

Чтоб в ладошке, как запятая,
тайный свет полминуты не гас...
Вы такого не испытали?
Жаль мне вас.

Тайна тайна. И тихо тихо.
На галерке напряжена
затаившеюся рысикой
театральная тишина.

Гениальная женщина зала,
утомленная уровнем цен,
по дыханию понимала
гениальную женщину сцен.

Абсолютна минута немая
двух сердец, когда выключен свет, —
понимание, пониманье...
В жизни смысла иного нет.

И единственная награда —
тайный взгляд, недоступный для лож,
от которого темному ряду
передается волшебная дрожь.

Тайный знак изможденному сердцу,
слаще кайфа на тысячу лет,

по которому следует в среду
так же взять на контроле билет...

Нас на улице, как любовниц,
не узнают, смущенье скрыв...
Трепещите, омовцы!
«Сырихи» идут на прорыв.

Друг продаст. Позабудет родина.
Понимания на найду.
Но «сырихино» сердце сиротино
заколотится в темном ряду.

НЕБА БЫ...

В магазин зашел: «Алло!
Дайте неба полкило».

Продавцов сказали двое:
«С небом перебои.
Нету черного, ночного,
белого нет, облачного,
ни розового, ни голубого,
ни серого — ну никакого,
нету неба бородинского!..»
«Тоже мне — князь Андрей».
«Гражданин, не надо диспутов!
Не толпитесь у дверей».

«Дома глазки голубые
Ждут, чтоб неба им добыли.
Если неба не давать —
они будут затухать.
Опусти, небена мать».

Продавщица ответила: «Сочувствую.
Вместо хлеба нам насущного
отпустить могу вам смога.
Но немного».

«Мне хотя бы без изюма,
И без звезд.
Я ее люблю безумно!
Разрешите встану в хвост».

«Ваши бы заботы мне бы...
В мировой голубизне
строить общество без неба
нелегко в одной стране.
В Марксе нет социализма.
Вода кончилась в воде.
Бензина самоубийце
нету. Неба нет нигде.
А в авоське — как кроссворд.
Угадай, из чего торт?»

«Нашенским без неба — финиш.
Даже в тюрьме
пайки синенькие видишь
четвертушками в окне.
Мне хотя бы ломтик надо,
чтобы глазки зацвели.
Мне сказали, из Канады
тонну неба завезли».

Продавец сказал любезно:
«Страна наша безнебесна.
Где работаешь, дебил?
Сам ты небо задымил».

Человек ушел без неба
в безнебесные места.
У моста слепые требуют:
«Подайте неба, ради Христа».

СКРЫМТЫМНЫМ

«Скрытымным» — это пляшут омичи?
скрип темниц? или крик о помощи?
или у Судьбы есть псевдоним,
темная ухмылочка — скрытымным?

Скрытымным — то, что между нами.
То, что было раньше, вскрыв, темним.
«Ты-мы-ыы...» — с закрытыми глазами
в счастье стонет женщина: скрытымным.

Скрытымным — языков праматерь.
Глупо верить разуму, глупо спорить с ним.
Планы прогнозируем по сопромату,
но часто не учитываем скрытымным.

«Как вы поживаете?» — «Скрытымным...»
«Скрытымным!» — «Слушаюсь.
Выполним».

Скрытымным — это не силлабика.
Лермонтов поэтому непереводим
Лучшая Марина зарыта в Елабуге.
Где ее могила? — скрытымным...

А пока пляшите, пьяны в дым:
«Шагадам, магадам, скрытымным!»
Но не забывайте — рухнул Рим,
не поняв приветствия: «Скрытымным».

1970

СОН

Я шел по берегу Оби,
я селезню шел параллельно.
Я шел по берегу любви.
И вслед деревья мне ревели.

И параллельно плачу рек,
лишенных лаянья собачьего,
финально шел ХХ век,
крестами ставни заколачивая.

И в городах и хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.

Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».

Я шел меж сосен голубых,
фотографируя их лица,
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.

Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,
как человек перед расстрелом.

Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.

«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.

«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».

И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.

Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...

Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»

БАЛЛАДА

Я сегодня приду и спокойно скажу,
что двадцатый окончился век.
Свои книги сожгу, твои платья сложу,
«Мы свободны, — скажу, — смена вех».

Отключится вода, и включится звезда,
и забьешься ты в пляске своей.
Частым жабрам под стать будут воздух
хватать
треугольники жадных локтей.

Посреди темноты заскользит, словно шрам,
след резинки над животом. Я увижу,
что ты —
пополам, пополам — в этом веке и веке
другом.

Обернусь я к гостям — гости все пополам,
перерезаны в пояс столом.
Каждый в веке своем мы по пояс живем,
под столом — в измеренье другом.

«Разве был этот век?» — ты ответишь
под смех.
Современники дискотек будут в пол нам
стучать
и напомнят опять, что бессмертен XX век.

ЧИТАЯ НА МОЩАХ

РЕКВИЕМ ОПТИМИСТИЧЕСКИЙ

За упокой Высоцкого Владимира
коленапреклоненная Москва,
разгладивши битловки, заводила
его потусторонние слова.

Владимир умер в 2 часа.
И бездыханно
стояли полные глаза,
как два стакана.

А над губой росли усы
пустой утехой,
резинкой врезались трусы,
разит аптекой.

Спи, шансонье Всея Руси,
отпетый.
Ушел твой ангел в небеси
обедать.

Володька,
если горлом кровь,
Володька,
когда от умных докторов
воротит,

а баба, русский журавель,
в отлете,
орет за тридевять земель:
«Володя!»

Ты шел закатною Москвой,
как богомаз мастеровой,
чуть выпив,
шел популярней, чем Пеле,
с беспечной челкой на челе,
носил гитару на плече,
как пару нимбов.
(Один для матери — большой,
золотенький,
под ним для мальчика — меньшей...)
Володя!..

За этот голос с хрипотцой,
дрожь сводит,
отравленная хлеб-соль
мелодий,
купил в валютке шарф цветной,
да не походишь.
Спи, русской песни крепостной, —
свободен.

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

А в Склифосовке филиал
Евангелия.

И Воскрешающий сказал:
«Закреть едальники!»

Твоею песенкой ревя
под маскою,
врачи произвели реа-
нимацию.
Вернулась снова жизнь в тебя.
И ты, отудобев,
нам говоришь: «Вы все — туда.
А я — оттуда!..»

Гремите, оркестры,
Козыри — крести.
Высоцкий воскресе.
Воистину воскресе!

ПОХОРОНЫ
ГОГОЛЯ
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Завещаю тела моего не по-
гребать до тех пор, пока не по-
кажутся явные признаки раз-
ложения. Упоминаю об этом
потому, что уже во время са-
мой болезни находили на меня
минуты жизненного онемения,
сердце и пульс переставали
биться...

Н.В. Гоголь. «Завещание»

1

Вы живого несли по стране!
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:

«Как доносится дождь через крышу,
но ко мне не проникнет, шумя, —
отпеванье неясное слышу,
понимаю, что это меня.

Вы вокруг меня встали в кольцо,
наблюдая, с какою кручиной
погружается нос мой в лицо,
точно лезвие в нож перочинный.

Разве я некрофил? Это вы!
Любят похороны в России,

поминают, когда мертвы,
забывая, пока живые.

Плоть худую и грешный мой дух
под прощальные плачи волшебные
заколачивает в сундук,
отправляя назад, до востребования».

Летаргическая Нева,
летаргическая немота —
позабыть, как звучат слова...

2

«Поднимите мне веки,
соотечественники мои,
в летаргическом веке
пробудитесь от галиматьи.
Поднимите мне веки!

Разбуди меня, люд молодой,
мои книги читавший под партией,
потрудитесь понять, что со мной.
Нет, отходят попарно!

Под Уфой затекает спина,
под Одессой мой разум смеркается.
Вот одна подошла, поняла...
Нет — сморкается!

Вместо смеха открылся кошмар.
Мною сделанное — минимально.

Мне впивается в шею комар,
он один меня понимает.

Я запретный выращивал плод,
плоть живую я скрещивал с тленьем.
Помоги мне подняться, Господь,
чтоб упасть пред тобой на колени».

Летаргическая благодать,
летаргический балаган —
спать, спать, спать...

«Я вскрывал, пролетая, гроба
в предрассветную пору,
как из складчатого гриба,
из крылатки рассеивал споры.

Ждал в хрустальных гробах, как
в стручках,
оробелых царевен горошины.
Что достигнуто? Я в дураках.
Жизнь такая короткая!

Жизнь сквозь поры несется в верхи,
с той же скоростью из стакана
испаряются пузырьки
недопитого мною нарзана».

Как торжественно-страшно лежать,
как беспомощно знать и желать,
что стоит недопитый стакан!

«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель. Но в нее не просунуться.
Что там муки Господние
перед тем, как в могиле проснуться!»

Крик подземный глубин не потряс.
Трое выпили на могиле.
Любят похороны у нас,
как вы любите слушать рассказ,
как вы Гоголя хоронили.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

1973 — 1974

Есть русская интеллигенция.
Вы думали — нет? Есть.
Не масса индифферентная,
а совесть страны и честь.

Есть в Рихтере и Аверинцеве
земских врачей черты —
постольку интеллигенция,
поскольку они честны.

«Нет пороков в своем отечестве»,
не уважаю лесть.
Есть пороки в моем отечестве,
зато и пророки есть.

Такие, как вне коррозии,
ноздрей петербургской вздет,
Николай Александрович Козырев —
небесный интеллигент.

Воюет с извечной дурью,
для подвига рождена,
отечественная литература —
отечественная война.

Какое призванье лестное
служить ей, отдавши честь:
«Есть, русская интеллигенция!
Есть!»

1975

* * *

Пострашнее мышеловок,
за решеткою стены,
воет дом умалишенных,
санаторий сатаны.

Что же делать, что же делать,
если родина больна
и над ней в халате белом
санитарит сатана?

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кощунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?» —
наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отреклась.

Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю,
Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверяю.

Не отрекусь.

1975

ВЫПУСТИ ПТИЦУ!

Что с тобой, крашенная, послушай?!
Модная прима с прядью плакучей,
бросишь купюру — выпустишь птицу.
Так что прыщами пошла продавщица.

Деньги на ветер, синь шебутная!
Как щебетала в клетке из тиса
та аметистовая четвертная —
«Выпусти птицу!»

Ты оскорбляешь труд птицелова,
месячный заработок свой горький
и «Геометрию» Киселева,
ставшую рыночной оберткой.

Птица тебя не поймет и не вспомнит,
люди сматерятся,
будет обед твой — булочка в полдник,
ты понимаешь? Выпусти птицу!

Птице пора за моря вероломные,
пусты лимонные филармонии,
пусть не себя — из неволи и сытости —
выпусти, выпусти...

Не понимаю, но обожаю
бабскую выходку на базаре.
«Ты дефективная, что ли, деваха?
Дура — де-юре, чудо — де-факто!»

Как ты ждала ее, красотулю!
Вымыла в горнице половицы.
Ах, не латунную, а золотую!..
Не залетела. Выпусти птицу!

Мы третьи сутки с тобою в раздоре,
чтоб разрядиться,
выпусти сладкую пленницу горя,
выпусти птицу!

В руки синица — скучная сказка,
в небо синицу!
Дело отлова — доля мужская,
женская доля — выпустить птицу!..

Наманикюренная десница,
словно крыло самолетное снизу,
в огненных знаках над рынком струится,
выпустив птицу.

Да и была ль она, вестница чудная?..
Вспыхнет на шляпе вместо гостинца,
пятнышко едкое и жемчужное —
память о птице.

ЗАПОВЕДЬ

Вечером, ночью, днем и с утра
благодарю, что не умер вчера.

Пулей противника сбита свеча.
Благодарю за священность обряда.
Враг по плечу — долгожданное брата,
благодарю, что не умер вчера.

Благодарю, что не умер вчера
сад мой и домик со старой терраской,
был бы вчерашний, позавчерашний,
а поутру зацвела мушмула!

И никогда б в мою жизнь не вошла
ты, что зовешься греховною силой —
чисто, как будто грехи отпустила,
дом застелила — да это ж волжба!

Я б не узнал, как ты утром свежа!
Стал бы будить тебя некий мужчина.
Это же умонепостижимо!
Благодарю, что не умер вчера.

Проигрыш черен. Подбита черта.
Нужно прочесть приговор, не ворча.
Нужно, как Брумель, начать с «ни черта».
Благодарю, что не умер вчера.

Существование — будто сестра,
не совершай мы волшебных ошибок.

Жизнь — это точно любимая, ибо
благодарю, что не умер вчера.

Ибо права не вражда, а волжба.
Может быть, завтра скажут: «Пора!»
Так нацарапай с улыбкой пера:
«Благодарю, что не умер вчера».

РУССКИЕ ПОЭТЫ

Не пуля, так сплетня
их в гроб уложила,
не с песней, а с петлей
их горло дружило.

И пули свистали,
как в дыры кларнетов,
в пробитые головы
лучших поэтов.

Их свищут метели.
Их пленумы судят.
Но есть Прометей.
И пленных не будет.

Несется в поверья
верстак под Москвой.
А я подмастерье
в его мастерской.

Свищу, как попало,
и так и сяк.
Лиха беда начало.
Велик верстак.

1957

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкринна
и ермоловская спина!

В скрежет зубовой индустрии и примусов,
в мире, замешенном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беды и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как ты там сможешь, как же ты сможешь
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

Рюмка стоит твоя после поминок
с корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но это последняя связь с тобой!
Оборвалась. Я стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

* * *

Единственно живой среди неживых,
свидетелем он Рая стал и Ада,
обитель справедливую Расплаты
он, как анатом, все круги постиг.
Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.
(Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.)
Он озверевшей банде был смешон.
Непониманье гения — закон.
О, дайте мне его прозренья, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

1975

* * *

Кончину чую. Но не знаю часа.
Плоть ищет утешенья в кутеже.
Жизнь плоти опостылела душе.
Душа зовет отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаше
среди ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И Истина сегодня — гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
Когда ж взойдет, Господь, что Ты посеял?
Нас в срамоте застанет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
Нам даже в смерти не найти спасенья.
И отвернутся ангелы от нас.

1975

МАСЛИЧНАЯ ВЕТВЬ

На склоне
лет земных
гляжу с горы Масличной.
Это я, Господи!
Петуший крик
стал куполом яичным,
это Ты, Господи.
Облаянный,
в парах бензина —
это я, Господи.
В кофейных парусах
Ерусалима —
это Ты, Господи.
Отцовский голос слышу
над долиной.
И чаша пропасти
неотвратима —
это Ты, Господи.

Я выполнил, Отец,
твою программу.
Но сколько во мне теплого
и костного...
Я мел душою,
как метлой поганой.

Прими, Господи,
социалистического
пилигрима.

Это мы, Господи,
с моим народом
веру погребли мы
и сорим в космосе.

На склоне лет земных гляжу
с горы Масличной —
это я, Господи! — это ты, Господи!

Маслины
слепли от машины.
И куполами
в сумерках круглы
объятья русской Магдалины
сомкнулись
над коленями горы.

И страшный путь
шел в небо прогибаясь,
как ванты Крымского моста.
И въелась в камни, спотыкаясь,
тень от креста.
Путь жизни близок
к высшей точке.
И листики маслин,
размером точно в эти строчки,
записывали за ним.

Я — ветка Божья
северной долины,
где избы горбятся.

Присутствие любви
неодолимой —
это Ты, Господи.

Где ошибался, волком жил
с волками —
это я, Господи.
Все, что я спел
от «а до я» стихами —
это Ты, Господи.

*Иерусалим. Масличная гора
26 октября 1989 г.*

ПОЭМЫ

АВЕ, ОЗА...

Аве, Оза...
Ночь или жилье,
псы ли воют, слизывая слезы,
слушаю дыхание твое.
Аве, Оза...

Оробело, как вступают в озеро,
разве знал я, циник и паяц,
что любовь — великая боязнь?
Аве, Оза...

Страшно — как сейчас тебе одной?
Но страшнее — если кто-то возле.
Черт тебя сподобил красотой!
Аве, Оза!

Вы, микробы, люди, паровозы,
умоляю — бережнее с нею.
Дай тебе не ведать потрясений.
Аве, Оза...

Противоположности светло.
Дай возьму всю боль твою и горечь.
У магнита я — печальный полюс,
ты же — светлый. Пусть тебе светло.

Дай тебе не ведать, как грущу.
Я тебя не огорчу собою.
Даже смертью не обеспокою.
Даже жизнью не отягощу.

Аве, Оза. Пребывай светла.
Мимолетное непрерывимо.
Не укоряю, что прошла.
Благодарю, что приходила.

Аве, Оза...

1

Женщина стоит у циклотрона —
стройно,

не отстегнув браслетки,
вся изменяясь смутно,
с нами она — и нет ее,
прислушивается к чему-то,

тает, ну как дыхание,
так за нее мне боязно!
Поздно ведь будет, поздно!
Рядышком с кадыками
циклотрона 3-10-40.

Я знаю, что люди состоят из частиц,
как радуги из светящихся пылинок
или фразы из букв.
Стоит изменить порядок, и наш
смысл меняется.

Говорили ей, — не ходи в зону!
А она...

«Зоя, — кричу я, — Зоя!..»
Но она не слышит.
Она ничего не понимает.

Может, ее называют Оза?

2

Не узнаю окружающего.
Вещи остались теми же, но частицы их,
мигая,
изменяли очертания, как лампочки
иллюминации на Центральном телеграфе.
Связи остались, но направление их
изменилось.

Мужчина стоял на весах.
Его вес оставался тем же. И нос был
на месте,
только вставлен внутрь, точно полый
чехол
кинжала. Неумещающий кончик торчал
из затылка.

Деревья лежали навзничь, как ветвистые
озера,
зато тени их стояли вертикально, будто
их вырезали ножницами.
Они чуть погромыхивали от ветра,
вроде серебра от шоколада.

Глубина колодца росла вверх, как черный
сноп
прожектора. В ней лежало утонувшее ведро
и плавали кусочки тины.
Из трех облачков шел дождь.
Они были похожи на пластмассовые
гребенки
с зубьями дождя. (У двух зубья торчали вниз,
у третьего — вверх.)
Ну и рокировка! На место ладьи
генуэзской
башни встала колокольня Ивана Великого.
На ней, не успев растаять, позвякивали
сосульки.

Страницы истории были перетасованы, как
карты в колоде. За индустриальной
революцией
следовало нашествие Батия.

У циклотрона толпилась очередь. Проходили
профилактику. Их разбирали и собирали.
Выходили обновленными.

У одного ухо было привинчено ко лбу
с дырочкой
посредине вроде зеркала отоларинголога.
«Счастливчик, — утешали его. — Удобно
для замочной скважины! И видно и
слышно одновременно».

А эта требовала жалобную книгу.
«Сердце забыли положить, сердце!»

Двумя пальцами он выдвинул ей грудь, как
правый ящик письменного стола, вложил

что-то

и захлопнул обратно. Экспериментщик
Ъ пел, пританцовывая.

«Е9 — Д4, — бормотал экспериментщик. — О,
таинство творчества! От перемены мест
слагаемых сумма не меняется. Важно
сохранить систему. К чему поэзия? Будут
работы. Психика — это комбинация
аминокислот...

Есть идея! Если разрезать земной шар
по экватору и вложить одно полушарие

в другое,

как половинку яичной скорлупы...

Конечно, придется спилить Эйфелеву башню,
чтобы она не проткнула поверхность

в районе

Австралийской низменности.

Правда, половина человечества погибнет, но
зато вторая вкусит радость эксперимента!..»

И только на сцене Президиум секции
квазиискусства сохранял

порядок. Его члены сияли, как яйца в
аппарате для просвечивания яиц.

Они были круглы и поэтому одинаковы со
всех сторон. И лишь у одного над столом
вместо туловища торчали ноги подобно
трубам перископа.

Но этого никто не замечал.
Докладчик выпятил грудь. Но голова его, как у целлулоидного пупса, была повернута вперед затылком. «Вперед, к новому искусству!» — призывал докладчик. Все соглашались.

Но где перед?
Горизонтальная стрелка указателя (не то «туалет», не то «к новому искусству!»)
торчала вверх на манер десяти минут третьего.
Люди продолжали идти целеустремленной цепочкой по ее направлению, как по ступеням невидимой лестницы.
Никто ничего не замечал.

НИКТО

Над всем этим, как апокалипсический знак, горел плакат: «Опасайтесь случайных связей!» Но кнопки были воткнуты острием
вверх.

НИЧЕГО

Иссиня-черные брови были нарисованы не над,
а под глазами, как тени от карниза.

НЕ ЗАМЕЧАЛ.

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

Ты мне снишься под утро,
как ты, милая, снишься!..

Почему-то под дулами,
наведенными снизу.

Ты летишь Подмосковьем,
хороша до озноба,
вся твоя маскировка —
30 метров озона!

Твои миги сосчитаны
наведенным патроном,
30 метров озона —
вся броня и защита!

В том рассвете болотном,
где полет безутешен,
но пахнуло полетом,
и — уже не удержишь.

Дай мне, Господи,
крыльев не для славы красивой —
чтобы только прикрыть ее
от прицела трясины.

Пусть еще погуляется
этой дуре рискованной,
хоть секунду — раскованно.
Только пусть не оглянется.

Пусть хоть ей будет счастье
в доме с умным сынишкой.
Наяву ли сейчас ты?
И когда же ты снишься?

От утра ли до вечера,
в шумном счастье заверчена,
до утра? поутру ли? —
за секунду от пули.

4

А может, милый друг, мы впрямь
сентиментальны?
И душу удалят, как вредные миндалины?
Ужели и хорей, серебряный флейтист,
погибнет, как форель погибла у плотин?

Ужели и любовь не модна, как камин?
Аминь?
Но почему ж тогда, заполнив Лужники,
мы тянемся к стихам, как к травам
от цинги?

И радостно и робко в нас души
расцветают...
Роботы,
роботы,
роботы
речь мою прерывают.

Толпами автоматы
топают к автоматам,

сунут жетон оплаты,
вытянут сок томатный,
некогда думать, некогда,
в офисы — как вагонетки,
есть только брутто, нетто —
быть человеком некогда!

Вот мой приятель-лирик:
к нему забежала горничная...
Утром вздохнула горестно, —
мол, так и не поговорили!

Ангел, об чем претензии?
Провинциалочка некая!
Сказки хотелось, песни?
Некогда, некогда, некогда!

Что там в груди колотится
пойманной партизанкою?
Сердце, вам безработица.
В мире — роботизация.

Ужас! Мама,
роди меня обратно!..

Обратно — к истокам неслись реки.
Обратно — от финиша к старту задним
ходом неслись мотоциклисты.
Баобабы на глазах, худея, превращались
в прутики саженцев — обратно!
Пуля, вылетев из сердца Маяковского,
пролетев прожженную дырочку на рубашке,

юркнула в ствол маузера 4-03986, а тот,
свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола...
...Твой отец историк. Он говорит,
что человечество
имеет обратный возраст. Оно идет
от старости к молодости.
Хотя бы средневековье. Старость.
Морщинистые стены инквизиции.
Потом Ренессанс — бабье лето
человечества.

Это как женщина, красивая,
все познавшая,
пирует среди зрелых плодов и тел.
Не будем перечислять надежд, измен,
приключений XVIII века, задумчивой
беременности XIX...
А начало XX века —
бешеный ритм революции!..
«Мы — первая любовь земли...»
«Я думаю о будущем, — продолжает
историк, —
когда все мечты осуществляются.
Техника в добрых руках добра.
Бояться техники?
Что же, назад в пещеру?..»
Он седой и румяный.
Ему улыбаются дети и собаки.

А не махнуть ли на море?

В час отлива возле чайной
я лежал в ночи печальной,
говорил друзьям
об Озе и величье бытия,
но внезапно черный ворон
примешался к разговорам,
вспыхнув синими очами,
он сказал:
«А на фига?!»

Я вскричал:
«Мне жаль вас, птица,
человеком вам родиться б,
счастье высшее трудиться,
полпланеты раскроя...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Будешь ты, — великий ментор,
бог машин, экспериментов,
будешь бронзой монументов
знаменит во все края...»
Он сказал: «А на фига?!»

«Уничтожив олигархов,
ты настроишь агрегатов,
демократией заменишь
короля и холуя...»
Он сказал: «А на фига?!»

Я сказал: «А хочешь — будешь
спать в заброшенной избушке,

утром пальчики девичьи
будут класть на губы вишни,
глушь такая, что не слышна
ни хвала и ни хула...»

Он ответил: «Все — мура,
раб стандарта, царь природы,
ты свободен без свободы,
ты летишь в автомашине,
но машина — без руля...
Оза, Роза ли, стервоза —
как скучны метаморфозы,
в ящик рано или поздно...
Жизнь была — а на фига?!»

Как сказать ему, подонку,
что живем не чтоб подохнуть, —
чтоб губами тронуть чудо
поцелуя и ручья!
Чудо жить — необъяснимо.
Кто не жил — что спорить с ними?!
Можно бы — да на фига?

7

А тебе семнадцать. Ты запыхалась после
гимнастики. И неважно, как тебя зовут.
Ты и не слышала о циклотроне.
Кто-то сдуру воткнул на приморской
набережной два ртутных фонаря.
Мы идем навстречу.
Ты от одного, я от другого.

Два света бьют нам в спину.

И прежде, чем встречаются наши руки,
сливаются наши тени — живые, теплые,
окруженные мертвой белизной.

Мне кажется, что ты все время идешь
навстречу!

Затылок людей всегда смотрит в прошлое.
За нами, как очередь на троллейбус,
стоит время.

У меня за плечами прошлое, как рюкзак, за
тобой — будущее. Оно за тобой шумит, как
парашют.

Когда мы вместе — я чувствую, как из
тебя в меня переходит будущее, а в тебя —
прошлое, будто мы песочные часы.

Как ты страдаешь от пережитков
будущего!

Ты резка, искренна. Ты поразительно
невежественна.

Прошлое для тебя еще может измениться
и наступать. «Наполеон, — говорю я, — был
выдающийся государственный деятель». Ты
отвечаешь: «Посмотрим!»

Зато будущее для тебя
достоверно и безусловно.

«Завтра мы пошли в лес», — говоришь ты.
У, какой лес зашумел назавтра! До сих пор у
тебя из левой туфельки не вытряхнулась
сухая хвойная иголка.

Твои туфли остроносые — такие уже не
носят. «Еще не носят», — смеешься ты.

Я пытаюсь заслонить собой

прошлое, чтобы ты никогда не разглядела
майданеков и инквизиции.

Твои зубы розовы от помады.

Иногда ты пытаешься
подладиться ко мне.

Я замечаю, что-то мучит тебя. Ты что-то
ерзаешь. «Ну, что ты?»

Освобождаясь, ты, довольная,
выпаливаешь, как на иностранном языке:
«Я получила
большое эстетическое удовольствие!
А раньше я тебя боялась... А о чем ты
думаешь?..»

МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

8

Выйду ли к парку, в море ль плыву —
туфелька пара стоит на полу.

Левая к правой набок припала,
их не поправят — времени мало.

В мире не топлено, в мире ни зги,
вы еще теплые, только с ноги,

в вас от ступни потемнела изнанка,
вытерлось золото фирменных знаков...

Красные голуби просо клюют.
Кровь кружит голову — спать не дают!

Выйду ли к пляжу — туфельк пара,
будто купальщица в море пропала.

Где ты, купальщица? Вымыты пляжи.
Как тебе плавается? С кем тебе пляшется?

...В мире металла, на черной планете,
сентиментальные туфельки эти,

как перед танком присели голубки —
нежные туфельки в форме скорлупки!

.....

9

Друг белокурый, что я натворил!
Тебя не опечалят строки эти?
Предполагая подарить бессмертье,
выходит, я погибель подарил.

Фельдфебель, олимпийский эгоист,
какой кретин скатился до приказа:
«Остановись, мгновенье. Ты — прекрасно»?!
Нет, продолжайся, не остановись!

Зачем стреножить жизнь, как конокрад?
Что наша жизнь?
Взаимопревращенье.
Бессмертье ж — прекращенное движенье,
как вырезан из ленты кинокадр.

Бессмертье — как зверинец меж людей.
В нем стонут Анна, Оза, Беатриче...

И каждый может, гогоча и тыча,
судить тебя и родинки глядеть.

Какая грусть — не видеться с тобой,
какая грусть увидеться в толкучке,
где каждый хлюст, вонзив клешни, толкуя,
касается тебя — какая боль!

Ты-то простишь мне боль твою и стон.
Ну, а в душе кровавые мозоли?
Где всякий сплетник, жизнь твою мусоля,
жует бифштекс над этим вот листом!

Простимся, Оза, сквозь решетку строк...
Но кровь к вискам бросается, задохшись,
когда живой, как бабочка в ладошке,
из телефона бьется голосок...

ОТ АВТОРА И КОЕ-ЧТО ДРУГОЕ

Люблю я Дубну. Там мои друзья.
Березы там растут сквозь тротуары.
И так же независимы и талы чудесных
обитателей глаза.

Цвет нации божественно оброс.
И, может, потому не дам я дуба —
мою судьбу оберегает Дубна,
как берегу я свет ее берез.

Я чем-то существую ради них.
Там я нашел в гостинице дневник.

Из зеркала вниз головой, как сосульки, свисали гости. В центре потолка нежный, как вымя, висел розовый торт с воткнутыми свечами.

Вокруг него, как лампочки, ввернутые в элегантные черные розетки костюмов, сияли лысины и прически. Лиц не было видно.

У одного лысина была маленькая,
как дырка на
пятке носка. Ее можно было закрасить
чернилами.

У другого она была
прозрачна, как спелое яблоко, и сквозь нее, как
зернышки, просвечивали
три мысли (две черные и одна светлая —
недозрелая).

Проборы щеголей горели, как щели в
копилках.

Затылок брюнетки с прикнопленным
прозрачным нейлоновым бантом полз,
словно муха по потолку.

Лиц не было видно. Зато перед
каждым, как таблички перед экспонатами,
лежали бумажки, где кто сидит.

И только одна тарелка была белая, как
пустая розетка.

«Скажите, а почему слева от хозяйки пустое
место?»

«Генерала, может, ждут?» «А может,
помер кто?»

Никто не знал, что там сию я.
Я невидим. Изящные денди, подходящие

тебя поздравить, спотыкаются об меня,
царапают вилками.
Ты сидишь рядом, но ты восторженно чужая,
как подарок в целлофане.
Модного поэта просят:
«Ах, рваните чего-то
этакого! Поближе к жизни, не от мира сего...
чтобы модерново...»
Поэт подымается (вернее, опускается, как
спускают трап с вертолета). Голос его
странен, как бы антимирен ему.

МОЛИТВА

Мать Владимирская, единственная,
первой молитвой — молитвой последнею —
я умоляю — стань нашей посредницей.
Неумолимы зрачки Ее льдистые.
Я не кощунствую — просто нет силы.
Жизнь заberi и успехи минутные,
наихрустальнейший голос в России —
мне ни к чему это!
Видишь — лежу — почернел как кикимора.
Все безысходно...
Осталось одно лишь —
грохнись ей в ноги,
Мать Владимирская,
может, умолишь, может, умолишь...

Читая, он запрокидывает лицо. И на его
белом лице, как на тарелке, горел нос, точно
болгарский перец.

Все кричат: «Браво! Этот лучше всех. Ну и тостик!» Слово берет следующий поэт. Он пьян вдребезину. Он свисает с потолка вниз головой и просыхает, как полотенце. Только несколько слов можно разобрать из его бормотанья: — Заонежье. Тает теплоход. Дай мне погрузиться в твое озеро.

До сих пор вся жизнь моя —
Предозье.
Не дай бог — в Заозье занесет...
Все замолкают.
Слово берет тамада Ъ.

Он раскачивается
вниз головой, как длинный маятник.
«Тост за новорожденную».
Голос его, как из репродуктора, разносится с потолка ресторана. «За ее новое рождение, и я, как крестный... Да, а как зовут новорожденную?» (Никто не знает.)

Как это все напоминает
что-то! И под этим подвешенным миром
внизу
расположился второй, наоборотный,
со своим
поэтом, со своим тамадой Ъ.
Они едва покасаются затылками друг друга,
симметричные, как песочные часы.

Но что это?

Где я?

В каком идиотском измерении? Что это за
потолочно-зеркальная реальность? Что
за наоборотная страна?!

Ты-то как попала сюда?
Еще мгновенье, и все сорвется вниз,
вдребезги,
как капли с карниза!
Надо что-то делать, разморозить тебя,
разбить
это зеркало.
Задумавшись, я машинально глотаю
бутерброд
с кетовой икрой.

Но почему висящий напротив, как окорок,
периферийный классик с ужасом смотрит
на мой желудок? Боже, ведь я-то невидим,
а бутерброд реален! Он передвигается
по мне, как красный джемпер в лифте.
Классик что-то шепчет соседу.
Слух моментально пронизывает головы, как
бусы на нитке.
Красные змеи языков ввинчиваются в уши
соседей. Все глядят на бутерброд.
«А нас килькой кормят!» — вопит классик.
Надо спрятаться! Ведь если они обнаружат
меня, кто же выручит тебя, кто же
разобьет зеркало?!
Я выпрыгиваю из-за стола и ложусь на
красную
дорожку пола. Рядом со мной, за стулом,
стоит пара туфельек. Они, видимо, жмут

кому-то. Левая припала к правой. (Как все напоминает что-то!) Тебя просят спеть... Начинаются танцы. Первая пара с хрустом проносится по мне. Подошвы! Подошвы! Почему все ботинки с подковами? Рядом кто-то с хрустом давит по туфелькам. Чьи-то каблучки, подобно швейной машинке, прошивают мне кожу на лице. Только бы не в глаза!.. Я вспоминаю все. Я начинаю понимать все. Роботы! Роботы! Роботы!

Как ты, милая, снишься!
«Так как же зовут новорожденную?» —
надрывается тамада.
«Зоя! — ору я. — Зоя!»
А МОЖЕТ, ЕЕ НАЗЫВАЮТ ОЗА?

11

Знаешь, Зоя, — теперь — без трепа.
Разбегаются наши тропы.
Стоит им пойти стороною,
остального не остановишь.

Помнишь, Зоя, — в снега застеленную,
помнишь Дубну, и ты играешь.
Оборачиваешься от клавиш.
И лицо твое опустело.
Что-то в нем приостановилось
и с тех пор невозстановимо.

Всяко было — дождь и радуги,
горизонт мне являл немилость.
Изменяли друзья злорадно.
Только ты не переменялась.

Зоя, помнишь, пора иная?
Зал, взбесившийся как свинарня...
Если жив я назло всем слухам,
в том вина твоя иль заслуга.

Когда беды меня окуривали,
я, как в воду, нырял под Ригу,
сквозь соломинку белокурую
ты дыхание мне дарила.

Километры не разделяют,
а сближают, как провода,
непростительнее, когда
миллиметры нас раздирают!

Если боли людей сближают,
то на черта мне жизнь без боли?
Или, может, беда блуждает
не за мной, а вдруг за тобою?

Нас спасающие — неспасаемы.
Что б ни выпало претерпеть,
для меня важнейшее самое —
как тебя уберечь теперь!

Ты ль меняешься? Я ль меняюсь?
И из лет

очертанья, что были нами,
опечаленно машут вслед.

Горько это, но тем не менее нам пора...
Вернемся к поэме.

12

Экспериментщик, чертова перечница,
изобрел агрегат ядерный.
Не выдерживаю соперничества.
Будьте прокляты, циклотроны!

Будь же проклята ты, громада
программированного зверья.
Будь я проклят за то, что я
слыл поэтом твоих распадов!

Мир — не хлам для аукциона.
Я — Андрей, а не имя рек.
Все прогрессы —
реакционны,
если рушится человек.

Не купить нас холодной игрушкой,
механическим соловейчиком!
В жизни главное человечность —
хорошо ль вам? красиво ль? грустно?

Проклинаю псевдопрогресс.
Горло саднит от техсловес.
Я им голос придал и душу,
будь я проклят за то, что в грядущем,

порубав таблеток с эссенцией,
спросит женщина тех времен:
«В третьем томике Вознесенского
что за зверь такой Циклотрон?»

Отвечаю: «Их кости ржавы,
отпугали, как тарантас.
Смертны техники и державы,
проходящие мимо нас.

Лишь одно на земле постоянно,
словно свет звезды, что ушла, —
продолжающееся сияние,
называли его душа.

Мы растаем и снова станем,
и неважно в каком бору,
важно жить, как леса хрустальны
после заморозков поутру.

И от ягод звенит кустарник,
В этом звоне я не умру».

И подумает женщина: «Странно!
Помню Дубну, снега с кострами.
Были пальцы от лыж красны.
Были клавиши холодны.

Что же с Зоей?»
Та, физик давняя?
До свидания, до свидания.

Отчужденно, как сквозь стекло,
ты глядишь свежо и светло.
В мире солнечно и морозно...

Прощай, Зоя.
Здравствуй, Оза!

13

Прощай, дневник, двойник души чужой,
забытый кем-то в дубненской гостинице.
Но почему, виски руками стиснув,
я думаю под утро над тобой?

Твоя наивность странна и смешна.
Но что-то ты в душе моей смешал.

Прости царапы моего пера.
Чудовищна ответственность касаться
чужой судьбы, тревог, галлюцинаций!
Но будь что будет! Гранки ждут. Пора.

И может быть, нескладный и щемящий,
придет хозяин на твой звон щенячий.
Я ничего в тебе не изменил,
лишь только имя Зоей заменил.

14

На крыльце,
очищая лыжи от снега,
я поднял голову.

Шел самолет.
И за ним
на неизменном расстоянии
летел отставший звук,
прямоугольный, как прицеп
на буксире.

Дубна — Одесса
Март 1964 г.

*От мозгов до кроссовок
просквозит меня соло
ностальгической нотой
АЛЕКСЕЯ КОЗЛОВА!*

БЕРЕМЕННЫЙ БАС

ВСТУПЛЕНИЕ

Даждь нам джаз. А сапогом по роже?
Как мужик беременный — пузатый бас.
Джаз — вид жизни. Боже, Боже,
даждь нам джаз!

В Бийске — минус 70. Обморозишь сердце.
Может, впрямь согреются, играя джаз?
Вымерзает интеллигенция.
Замерзает рабочий класс.
Совесьть измеряется килогерцами.
Даждь нам газ!

Русские джазисты, бомжи элитарные,
пальцы коченеют в такие холода!
Ты куда ведешь нас, ударник,
ударник-ударникуданикуданикуда —
НИКУДА

Джем, жим, джин, джин-тоник,
тоник-тониктониктониктоникто —
НИКТО

Бабочка с иголки подседа мне на тай —
на тай-натаяннатаяннатаяйна — **ТАЙНА**

Но над веками
взмахнет руками
Христос — как без палочки
дирижер-джазист.
Как Он устал дирижировать нами!

ДАЖДЬ НАМ ЖИЗНЬ!

ГЛАВА I

Марь-Иванна, что такое джаз? —
дискутируют в школе скептики.
— Почему забеременел контрабас?
Экономил на контрацептике?

«Почему, почему!»
Ща те рожу починю!
С гитарой обжимается Пол Боллинбэк.
— А бас, что же, не человек?..

Judge us jazz!
— Как же, щас...
— Джаз — это музыкальный джакузи.
Дождь горизонтальный бьет, как «узи».

Кролл. И Бенни Гудман. Кровь.
Лорд Джадд.
Забвение минутное даждь нам джаз!

В аду нет топлива для котла.
Милиция топает «забить козла»
(топлес-телка телкателкателка — котел).
— Сакс? На костер!

«Джаз умер», — критик писал. Но — ах! — джаз сыграл на его похоронах.

Миллениум Горбушку видал в гробу,
но вместо обмеления есть Игорь Бу

«зусман барает*».
Бутман играет.

Утрись, плакса!
Бутман — бюджетлянин сакса.

Кто там дует в золотой унитаз?

ДАЖДЬ НАМ ДЖАЗ!

Ажажа и Пришелец, кто ты ни будь,
ДАЖДЬ НАМ
ЖУТЬ!

ГЛАВА 2

Даждь нам джаз! Не узнан,
бродит под Москвой
красноносый «зусман»
с белой бородой.

Боже! Обознаюсь!
Ну и туман...
Взял я соседа за нос.
Но это стоп-кран.

* Молодежное джазовое выражение 60-х годов, означающее «мороз трахает».

Жмурики, на раут!
Усмань смерзлась враз, —
«зусман барает».
Даждь нам джаз!

Мороз барает нищих в бараках.
Думский парламент мороз барает.
Спит в «Мерседесе» парочка private.
Мороз барает. Обоих барает.

Лопнут бутылки, сберкассы, препоны,
невеста, которую запирают,
и барабанные перепонки —
мороз барает.

Он заморозил в суде апелляции.
Родина граждан не выбирает.
Мороз преступнику нос обеляет.
Мороз барает.

Снег в Эмиратах беспрецедентный.
Женские судьбы — как дырки баранок.
Администрацию президента
мороз барает,

«зусман барает».
БУТМАН ИГРАЕТ.

ГЛАВА 3

**Как-то
проказница-мартышка,
козел на саксе,**

с контрабасом мишка
и конь в пальто
решили играть группой.

Играли по крупной.

Открыли клонирование.
Откроили Крым Украине,
Выпустили инстинкты.
Устроили в Индии землетрясение.
Подстелили пальто.
Закусывали водку вареньем.
Протрезвевши, поняли, что
бас беременный.

Мэн расстегивает ремень.
Бас беременен.
Пересели. Ветр перемен.
Бас беременен.
Смени позы согласно времени!
Бас беременен.
Вопреки Брему.
Ностальгиею гобеленовой
Бас беременный.

Позвали театр «Ромэн».
Бас беременен.

«Ну, козлы, — подытожил сакс. —
Пошли в ЗАГС».

ГЛАВА 4

Если вы не жмурики
и по вам не выли —
умирайте в музыке,
пока вы живые!

Глубь артезианская!
Каждое мгновенье
возрождайтесь заново.
В этом жизнь, наверное.

Сумбур вместо музыки.
Собор вместо мусора.
Закаты над Грузией —
как корки арбузные.

Азбучны приливы
и отливы чувства.
Душе с непривычки
сразу не очухаться.

Жемчуга. Амбиции.
Тяга безотказная.
И самоубийство
вечного оргазма.

Опять умирайте,
чтоб вновь возродиться, —
не забудьте, Бога ради,
назад возвратиться!

Мы — живые смерти.
Свечки именинные.
Хороши конверты
на своих поминках!

Меж Твоею, милой,
и моей ладонью —
новые могилы,
новые роддомы.

ГЛАВА 5

«Гзи-гзи-гзео» — в русском шизе
слышно: Диззи!
Оза, смейтесь, смехачи!
СМИ, мочи!

У баса в животе открыты
две прорези от аппендицита.
Струны начинаются, где лобок.
Браки однополые венчает Бог.

Страстью отзывается стон струн глухих,
когда басник пальцами щиплет их.

Кто папаша джаза? Сакс породы такс.
**БЕРЕМЕННОСТЬ ПЕРЕДАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ ФАКС.**

Пухнет бас в результате свинга?
А может быть, свинка?

Чем беременен?
Чемберленами?
Чемоданами, юбилеями?
Божьим временем?

И брюхатилось под декой
полубуквами ХэХэ
то, что было ХэХэ веком,
чемпионом во грехе —

войны, технари, налоги,
кровь, поэты, Лужники
и новейших теологий
виртуальные жуки.

(Увлекаясь какофонией,
не забудь о генофонде.)

Божьи птички
оптимистичны.

Пеночка:
«пинь-пинь-пиночет».
Журавли: «куравлев».

Сойка:
«сойка-сойкасойкасой — косою».
Индюк (еле в тон):
«Я Дюк Эллингтон!»

Орел (резко): «Я решка».
Овсянка: «Оф-самка».

Бутман: «О'кей, Осанна!
Свист этих самых — как их там? —
санок, самок, амок! —
санок, санок санок санок —
Оксана, «ОК...»

И как таинство
в днях портяночных,
шею вытянувши вдоль трассы,
потянутся
верблюды, как контрабасы.

— Ты куда, «Караван», караван караван-
караванкара?
— В Анкара!

Взор замедлите —
и в воде
царскосельские белые лебеди
отразятся будто биде.

Вьюга крутится, как рюмка.
Юнга, чистящий гальюн, —
юнга, юнга, юнга, юнга, —
слышит птицу Гамаюн.

Заплываем в мечту.

Все забудем.

Я до счастья Тебя домчу —
домчу-домчудомчудомчудом —
ЧУДОМ

ГЛАВА 6

— Каков пол у Боллинбэка?

— Как пол кентавра:

пол-человека

и пол-гитары.

Полнолуние бьет в литавры.

Бутман, смерть джаза — это деза.

Ты в Нью-Йорке оцепенел —

тебе бухнул великий Диззи:

«Я — тоже революционер!»

Читка этой поэмы — пытка.

Но как Ангел внимательный, ты,

когда я читал, на пюпитре

перевортывал мне листы.

Сколько свободы?

А сколько времени?

Луна — без стрелок, но на ремешке
серебряной дорожки.

Ноль — без дирижерской палочки,
струны не нуждаются в смычке.

Большое мужество — продолжать
свое племя.

Ведь нация на мушке, на волоске.

Русские перестают беременеть.

Приходится — музыке...

ГЛАВА 7

Сердце отморожено, как ухо.
Берегите сирот!
Снегом депрессуху
джаз массирует.

Живопись? Граффити!
Животворная наркота...
Живите —
для живота.

Сахар нас схрупал.
Пища пережует.
Царит над городом купол,
над нами царит живот.

Мороз, все бараешь?
Избежим когтей.
Billy Cobham, черный барабанщик,
крутит плечи, как гантель.

Привет Улан-Батору — баторубатору —
рубато!

Нос любителя метакс
сбил плинтус...
«БУТМАН — ЛУЧШИЙ В МИРЕ САКС»
(Билл Клинтон)

Жмет мысль опасная
в моем мозге:

лучшие саксы и лучшие басники —
в Москве!

— К черту барабашку!

— Бей, Билли!

— Банщики стараются...

— Свободу рабам!

**Черный барабанщик черными гирями,
как черными ядрами, бьет в барабан...**

ГЛАВА 8

Позовите сюда эпоху.

Пусть носы росисты, как земляника.

**Похороны
прекрасного Мига.**

Не сгоревшего в небе МиГа,
который был вертолет,
а намыкавшегося мига,
который нам не сплет.

Сутулится бас фигурой —
беременный с черным бантом.
В окна глядят с шампура
Бременские музыканты.

Он был музыкальный профи:
«Миг. Хмык. Мик-ада. Биг-Мак».
Я помню лежащий профиль,
запыхавшийся, как сайгак.

Мне все ритуалы по хрену!
Он был из друзей моих.
Я видел: пугая похороны,
из гроба Он встал на миг!

Рухнул с тоской во взоре,
Сказав: «Она не пришла»
Мemento море!
Звездам на небе нет числа.

ГЛАВА 9

В Джекказгане ветра безумные.
Джаз каскадом взлетает. Но
площадь Зубовская — без Зубова
и без Дюка сохнет ф-но.

Люблю города могучные.
Сплю, сплюсплюсплюс — «Европа Плюс».
Страны называют в честь Бени Гудмана —
Бенилюкс!

И дизель трубы заболел эпилепсией
без Диззи Гиллеспи.

Помнишь Диззи московским летом?
Контрабасы столпились в круг,
как коричневые жилеты
с двумя прорезями для рук.

Помнишь, ты на концерте плакала
под визг трубы?

Бас горбатый, облапив лабуха,
как медведь, вставал на дыбы.

Помнишь, помнишь, Москву влюбил
73-летний Мафусаил?

— Ишь, докривляется лет до ста!

Нет корреляции возраста.

— У нас бы одумался, стал бы другим.

— Написал бы Гимн...

— Все не перебесится, старый джаз!

На девятом месяце бедняга бас.

ГЛАВА 10

Бас тужится.

Басу хочется соленьенького.

Бастующим операторам хочется
«зелененьких».

Дышит в шею, тих как батист,
влюбленный контрабасист.

Почему, поборовши шок,
он невидимый взял смычок?

Что мычит смычковый Башмет?

По-славянски «басник» — поэт.

Чей смычок с неджазовой нежностью —
ночь печенежится! —

белоснежными полотенцами
тело баса трет запотелое?

Схватки. Корчи. Салют! Экстаз!
У баса родился малютка-бас.

Музыка — дух рас.

ДАЖДЬ НАМ ДЖАЗ!

ПОСВЯЩЕНИЕ

*Озари меня,
муза зауми!*

Музы все Тебе служат замами.

*Называют тебя дикой дурочкой.
В нашем слаломе
подари Ты мне свою дудочку, муза зау-
ми!*

*Мама мыла раму — рамурамура —
мура — АМУРА*

*Бродят, рыча — рычарычарычары —
ЧАРЫ*

*Я живу. Не нуждаюсь в тренере.
Неказист?
Но зато я играю на «теноре»,
как джазист.*

*Берестяные ходят ходики.
Еще рано.
Повернись ко мне своим в родинках
нотным станом.*

*Впились тернии, словно шестерни,
в лоб терзаемый...
Тренирует меня — что естественно! —
муза зауми.*

ЭПИЛОГ

**Играет смычок. Его пилящий жест
мне видится, как отшатнувшийся крест.**

**Нет сил человеческих с мукой своей
тащиться, как тащит сучок муравей.**

**Как крест Он тащил! И мучительный
стон
нас всех осенил музыкальным крестом.**

**Сверкнуло скрещенье Башмета и джаза
смычковым крещендо бессмертного
баса!**

Спасение — в музыке. К ней прижмись.

даждь НАМ ЖИЗНЬ!

2001 г.

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЫЕ СТИХИ

Встреча	5
Весенние велогонки	6
«Бровь нахмурится над спецовкою...»	8
Смерть огня	10
Павлевазмей	11

А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Романс	13
Сага	14
«Не придумано истинней мига...»	16
Осень в Сигулде	17
Сон	20
Пиета	21
Скульптор свечей	22
Женщина и стена	24
Ностальгия по настоящему	26
Сначала!	28
«Не возвращайтесь к былым возлюбленным...»	30
Монахиня моря	32
Водяные	34
Вдоль моря	36
Купание в росе	38

Замерли.....	40
Баллада-яблоня.....	41
«Можно и не быть поэтом...».....	44
Повесть.....	45
Переделкинский ключ.....	46
Обучение винопитию.....	47
Автомат.....	49
Баллада о МО.....	51
Платите женщине.....	54
Игровая.....	56
Фиалки.....	59
А ты меня помнишь?.....	61
Охота на зайца.....	62
Бьют женщину.....	66
Тишины!.....	68
Осень.....	70
«Сидишь беременная, бледная...».....	72
Первый лед.....	73
«В человеческом организме...».....	74
Автопортрет.....	75
Не пишется.....	76
«Приди! Чтоб снова снег слепил...».....	78
Художник и модель.....	79
Яблокопад.....	80
Роща.....	85
Васильки Шагала.....	86
Муравей.....	88
N.Y. — ресторан.....	89
Русско-американский романс.....	90
Звезда.....	91
Беловежская баллада.....	93
Правила поведения за столом.....	95
Баллада-диссертация.....	96

Масленица	98
Школьник	100
Книжный бум	102
Гитара	104
Пластинка	105
Храм	106
Бьет женщина	107
Морозный ипподром.....	109
Старая песня	113
Тоска	114
«Когда я придаю бумаге...»	115
Преображение	116
Свет друга	118
«Дорогие литсобратья!..»	119
Горный монастырь	120
Бой петухов	121
Время на ремонте	123
Шаланда желаний	127
Вальс при свечах	128
«Мордеем, друг. Подруги молодеют...»	129
Обстановочка.....	130
«Еще немного дай побыть мне так...»	133
«Никто меня не провожал...»	134
Сестра	135
«Спаси нас, Господи, от новых арестов...»	138
Гойя	139
Желтый дом	140
Хобби света	142
Рублевское шоссе.....	144
Две песни	145
Спасите черемуху.....	148
«Ну что тебе надо еще от меня?..»	150
Переход	151

«Как спасти страну от дьявола?..»	154
Россия без очередей	155
В непогоду	156
Зевака	157
Оглянись вперед	159
Зомби забвенья	160
Искушение	163
«Нам, как аппендицит...»	165

НОТЫ МЕЛАНХОЛИИ

Беседа в Риме	168
Монолог Мерлин Монро	170
Ночной аэропорт в Нью-Йорке	174
«Сыграй мне полонез Огинского!..»	177
Рождественские пляжи	178
Прощанье с микрофоном	180
Ответ на записку	182
Монолог актера	183
Пожар в Архитектурном институте	184
«Нас много. Нас может быть четверо...»	186
«Сладким ротиком от халвы...»	188
Деревянный зал	189
Пир	191
Секс-контры	193
Я — money	195
Хор нимф	196
Не забудь	197
Ласточки	199

БЕЗ РИФМ

Вольноотпущенник времени	201
Париж без рифм	203

Исповедь «сырихи»	208
Неба бы	211
Скрытымным	213
Сон	214
Баллада	216

ЧИТАЯ НА МОЩАХ

Реквием оптимистический	217
Похороны Гоголя Николая Васильевича.....	220
«Есть русская интеллигенция...»	224
«Пострашнее мышеловок...»	225
«Не отрекусь...»	226
Выпусти птицу!	227
Заповедь	229
Русские поэты	231
Мать.....	232
«Единственно живой среди неживых...»	234
«Кончину чую. Но не знаю часа...»	235
Масличная ветвь	236

ПОЭМЫ

Аве, Оза.....	239
Беременный бас	266

Андрей Вознесенский
СТИХОТВОРЕНИЯ И ПОЭМЫ

Информационно-издательский дом «Профиздат»
Генеральный директор *В.Н. Соловьев*

Ответственные за выпуск
М.Н. Заячковский, А.А. Польщикова
Художественный редактор *А.Б. Николаевский*
Технический редактор *Н.Д. Коробова*
Корректоры *Г.Н. Рынькова, А.Ю. Андреева*
Компьютерная верстка *Н.А. Сафроненко*

ЛР № 030269 от 14.04.97
Подписано в печать 10.04.2001. Формат 70x90^{1/32}
Бумага офсетная. Гарнитура таймс
Печать офсетная. Усл. печ. л. 10,53. Уч.-изд. л. 10,48
Тираж 10 000 экз. Зак. № 1000

101000, Москва, ул. Мясницкая, 13, стр. 18
Тел. 924-57-40, факс 975-23-29
Отдел реализации 924-82-25
E-mail: profizdat@profizdat.ru

Отпечатано во ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В Информационно-издательском доме
«ПРОФИЗДАТ»
в серии «Поэзия XX века»
вышли в свет книги:

Эдуарда Асадова
Беллы Ахмадулиной
Анны Ахматовой
Александра Блока
Иосифа Бродского
Ивана Бунина
Максимилиана Волошина
Владимира Высоцкого
Николая Гумилева
Сергея Есенина
Николая Заболоцкого
Вячеслава Иванова
Осипа Мандельштама
Булата Окуджавы
Бориса Пастернака
Николая Рубцова
Игоря Северянина
Андрея Тарковского
Марины Цветаевой

